



ТУВЕ ЯНССОН
ГОРОД СОЛНЦА

АМФОРА

Annotation

В романе «Город Солнца» знаменитой финляндской писательницы Туве Янссон рассказывается о тех, кто в конце пути нашел себе приют в тихом и спокойном месте, где всегда тепло, а многочисленные пансионаты готовы предоставить клиентам комфортабельное обслуживание. Там, в городе пенсионеров, где на первый взгляд как будто замерло время, жизнь оказывается полна событий, споров и приключений.

- [Туве Янссон](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [Жалеть — значит понимать. Понимать — значит любить...](#)
- [notes](#)
 - [1](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

Туве Янссон

Город солнца

Солнечные города — это удивительные, преисполненные мира обители, где мы гарантируем вечное сияние солнца, рай на земле, оживляющий подобно старому вину.....

Из американской брошюры

В Сент-Питерсберге^[1], в штате Флорида, где всегда тепло, эспланады с пальмами окаймляют берег синего моря, улицы там прямые и широкие, а дома отгорожены изгородью из кудрявых деревьев и кустов. В респектабельной и тихой части города дома в основном деревянные, зачастую белые, с открытыми верандами, где кресла-качалки круглый год стоят длинными рядами, теснясь друг подле друга.

По утрам там очень спокойно, а улицы, залитые вечным солнечным светом, — пусты. Но вот, мало-помалу постояльцы выходят на веранды, спускаются вниз по ступенькам и медленно бредут к кафе под названием «Сад» или в другие красивые места с самообслуживанием; частенько они движутся мелкими группками или по двое. Чуть позднее они садятся в свои кресла-качалки или же совершают небольшую прогулку.

В Сент-Питерсберге парикмахеров гораздо больше, чем в каком-либо другом городе, и специализируются они на мелких воздушных кудельках из седых волос. Сотни пожилых дам с седыми кудрявыми головами бродят под пальмами, господ мужчин, напротив, не так уж и много.

В пансионатах у каждого своя отдельная комната или комната на двоих, у некоторых — лишь ненадолго в этом ровном благотворном климате, однако у большинства — на все предстоящее им время... Никто не болен, то есть в собственном смысле этого слова никто не лежит в постели; подобное улаживается невероятно быстро с помощью санитарных машин, которые никогда не пользуются сиренами. Среди деревьев здесь обитает множество белок, не говоря уже о птицах, и зверьки эти совершенно ручные — вплоть до наглости. Магазины всегда держат наготове слуховые аппараты и прочие вспомогательные средства, яркие веселые краски объявлений в каждом квартале возвещают о возможности немедленно измерить кровяное давление, а также дают любую информацию, какая только может понадобиться: к примеру, сведения о пенсиях, кремации и юридические советы. Кроме того, в городе чрезвычайно заботятся о

наличии разнообразных запасов шерсти и узоров для вязания, о всевозможных играх, материалах для изготовления брошек и всяких штучек-дрючек в этом роде. И будьте уверены: в этих магазинах вас ждет радушный прием и полная готовность помочь. Тот, кто гуляет вдоль эспланад, или спускается вниз к морю, или же поднимается наверх в городской парк и церковь, не встретит ни детей, ни хиппи, ни собак. Только в конце недели на пирсе и вдоль набережных полным-полно людей, приехавших в этот красивый город, чтобы посмотреть на корабль «Баунти».

Пансионат «Батлер армс» — в трех кварталах к северу от Второй авеню — дом двухэтажный, где из окна угловой комнаты последнего этажа можно видеть кусочек моря и парусную оснастку судна «Баунти», освещенного по вечерам. Веранда пансионата красивее большинства других в городе и украшена резными перилами; она производит приятное и даже несколько интимное впечатление благодаря тому, что кресел-качалок здесь всего восемь. Вообще-то можно упомянуть, что дом очень стар, ему почти семьдесят пять лет.

Два раза в день Баунти-Джо проносится по авеню на своем мотоцикле: чуть раньше одиннадцати утра, когда открывается касса, и в сумерки, когда корабль освещен, а он с бешеной скоростью проезжает с открытым лицом и, поворачивая на углу улицы Палмера, сбрасывает ногу с педали и заставляет подошву своего сапога скользить по асфальту. Потом все снова стихает. Баунти-Джо любит Линду — уборщицу в пансионате «Батлер армс».

Место миссис Элизабет Моррис из Небраски (77 лет) — на веранде в кресле-качалке возле большой магнолии, почти у самых перил. Ближе всех к магнолии сидел мистер Томпсон, притворявшийся глухим, а по другую сторону — мисс Пибоди, чрезвычайно застенчивая; таким образом, миссис Моррис могла спокойно предаваться своим мыслям. Она прибыла в Сент-Питерсберг на несколько недель раньше, ее никто не сопровождал, горло у нее болело, а в пансионате «Батлер армс» голос и вовсе исчез. На одной из страниц своей записной книжки миссис Моррис указала свое имя, имущественное положение, а также несколько предметов антикварной мебели, которым должно прибыть позднее. Тишина в доме избавила ее от опрометчивой возможности, грозящей обернуться опасностью, довериться кому-либо после длительного и одинокого путешествия.

Когда же к ней вернулся голос, опасный момент доверительности миновал; постояльцы привыкли к ее молчаливости и к тому, что она не задавала вопросов.

Элизабет Моррис была женщиной крепкого телосложения, к тому же необычайно статной. Единственная косметика, которой она пользовалась, была нанесена на ее могучие брови, красиво очерченные и линией своей напоминавшие вольный взмах птичьего крыла. Эти царственные брови, темно-синие под сенью седых волос, придавали ее взгляду ясное испытующее выражение, но видеть кому-либо ее глаза доводилось крайне редко.

Наклонившись вперед, мисс Пибоди спросила:

— У вас столько разных темных очков?

— Трое, — ответила миссис Моррис. — Я делаю улицу синей, коричневой или розовой. Синяя улица — лучше всего.

Баунти-Джо проехал мимо на своем мотоцикле; взревев на крутом повороте, машина устремилась прямо к берегу. На заднике мотоцикла Джо нарисовал большой белый крест.

— Мотор скрипит хуже, чем я, — сказал Томпсон.

Они ожидали почту. Каждое утро мисс Фрей то в зеленых, а то и в розовых лосинах появлялась на веранде с почтой. Старая тощая ящерица шестидесяти пяти лет в лосинах, которые были ей непомерно велики.

«Женщины!» — думал Томпсон и, деревенея, словно осиновая палка на своем стуле, издал одним лишь уголком рта долгий стонущий звук.

Пибоди, крепко вцепившись в руку миссис Моррис, закричала:

— Это приступ, приступ, сделайте что-нибудь!

Элизабет Моррис отдернула руку так, словно ее укусили. Сидевшая чуть поодаль на веранде миссис Рубинстайн заметила, что театрализованное представление Томпсона в качестве генеральной репетиции потерпело фиаско. Мисс Пибоди подняла глаза, шепча извинения. У нее были мелкие передние зубы, и она чрезвычайно напоминала бурозубку, поедающую насекомых. Миссис Моррис должна понять, что с ней, с мисс Пибоди, всегда было так, — она слишком импульсивна и ее слишком легко обмануть, это вовсе не ее вина...

Утро стояло прохладное и свежее, пахло травой, а запах травы был таким, словно только что подстригали лужайку...

«Мне не следовало отдергивать руку, — подумала Элизабет Моррис, — так бывает всякий раз, когда кто-то притрагивается ко мне, а сейчас я ранила мышку».

Кресла-качалки стояли слишком близко одно к другому. Но качалась в кресле одна лишь Ханна Хиггинс, она непрерывно качалась взад-вперед, медленно и мирно; она достала свою «сборную селянку» — ножницы, ручку и начала весьма проворно одну за другой вырезать лилии с высоким венчиком и четырьмя выпуклыми цветочными лепестками. Эти лилии обычно каждую Пасху стояли на пианино, к Рождеству же миссис Хиггинс вырезала шестиугольные звездочки и другие образчики разных переменчивых форм снежного кристалла. Удивительно, сколько всего можно сотворить с помощью «сборных селянок»! Ее близорукие глаза за толстыми стеклами очков тщательно следили за движениями ножниц, ее широкое лицо было покрыто тысячей микроскопических морщинок, аккуратно распределенных, словно на гофрированной бумаге. В июне ей должно исполниться семьдесят восемь лет.

Миссис Моррис давно заметила: чтобы помешать креслу качаться, требуется известное внимание, ибо малейшее движение пускает его в ход. Она быстро освоилась, но всякий раз, вставая с этого благословенного кресла-качалки, чувствовала, как одеревенели ее ноги от сдерживаемого напряжения. Иногда она задумывалась, ощущают ли то же самое другие постояльцы...

Когда мисс Фрей выходила из вестибюля, обычно она говорила всем: «Привет! Солнце светит снова!» Она произносила это каждое утро, но сегодня, устав, выговорила эти слова чуть более резко. Крайне неосторожно, будто влекомая демонами, двинулась она напрямик к миссис Рубинстайн. Она подошла к ней совсем близко, и в тоне обычного разговора то ли с совсем крохотными собачонками, то ли с чужими детьми, сказала:

— Письмецо! Вам — маленькое письмецо по почте!

Громадная черноглазая женщина, медленно повернувшись на пол-оборота в своем кресле, вперила взор в мисс Фрей, в ее размалеванное, изношенное лицо под париком. Затем столь же медленно опустила глаза и, не беря письмо в руки, стала разглядывать

его. Все знали, что сейчас она снова поведет себя неподобающе непристойно.

Рука мисс Фрей начала дрожать, и наконец миссис Рубинстайн заговорила, с уничтожающей любезностью заявив:

— Моя дорогая мисс Фрей! Ваше собственное маленькое письмецо вместе с вашей собственной маленькой брошюркой, которую вы всем предлагаете, можно использовать как туалетную бумагу... Лишь моя скромность, мисс Фрей, лишь моя застенчивость запрещает мне говорить о том, что вы можете сделать с этим письмом.

И она издала краткий хриплый смешок, явственно намекавший на то, каким именно образом мисс Фрей может употребить это письмо. Томпсон, приподнявшись в своем кресле, спросил:

— Что она сказала? Опять что-то неприличное?

— Ничего серьезного, — ответила миссис Моррис.

Мисс Фрей покраснела и, игриво хлопнув миссис Рубинстайн по плечу, воскликнула:

— Фи, до чего грубо! — И уронив почту на пол, удалилась.

— Что она сказала? — повторил Томпсон.

Сквозь стекла затемненных очков миссис Моррис лужайка стала синей, пустота улицы — отдаленной, словно на луне, а синий Томпсон приобрел необычайно болезненный вид. И она успокаивающе произнесла:

— Ничего серьезного. Миссис Рубинстайн пыталась позабавиться.

— Но что она сказала, что сказала?! — упорствовал Томпсон.

Приподнявшись снова, он выбрался из кресла, придвинул свое маленькое перекошенное личико прямо к ней и заорал, что вот так всегда и бывает со всеми, со всеми женщинами, никогда ничего интересного и забавного не узнаешь! С таким же успехом можно быть мертвым! Абсолютно мертвым, да, и вы за компанию тоже, как бы вас там ни звали!

Он продолжал, уже стоя, ждать, положив руку за ухо; на веранде все безмолвствовали.

Миссис Моррис сняла очки, и поскольку Томпсон не казался ей больше синеватым, он теперь выглядел мало-мальски нормально. Она холодно ответила, что миссис Рубинстайн, по всей вероятности,

намекала: мисс Фрей-де может использовать это письмо как туалетную бумагу. Томпсон внимательно выслушал и снова уселся в кресло-качалку.

— Очень забавно! — сказал он и устремил взгляд на улицу. — Мои милые дамы, — продолжил он, — вы необычайно веселы!

«Вероятно, расположение кресел-качалок параллельно друг другу — единственная, с практической точки зрения, возможность. Пожалуй, — думала миссис Моррис, — трудно расположить их группками, качающимися, стало быть, друг против друга, это требует большего пространства, да и вскоре станет страшно утомительным. В сущности, самая трезвая идея — одно-единственное кресло, которое качается в одной, во всем остальном статичной комнате».

— Мне надо идти, — сказала мисс Пибоди, — у меня постирушка в комнате.

Расплакавшись, она, всхлипывая, спешно покинула веранду. Миссис Хиггинс заметила, что она, эта маленькая бедняжка, верна самой себе. А миссис Рубинстайн закурила новую сигарету и ответила, что во все времена все на свете Пибоди, сохраняя верность самим себе, убегают в свои комнаты. Они необычайно сострадательны, и их самих постоянно надо утешать. Развернув газету, она принялась читать о том, что происходит в мире, читать презрительно, со знанием дела. Это — ее четвертая сигарета до ланча. Ребекке Рубинстайн был восемьдесят один год. Ее волосы напоминали белую тиару, а щеки под опущенными веками, отягощенные ровными складками, все еще походили по своему насыщенному цвету на какой-то перезрелый фрукт.

«С таким же успехом можно быть мертвым!» — думала Элизабет Моррис, притворяясь спящей под своими очками. Томпсон пустил в ход свой главный козырь. Игра не была честной, но ведь старому черту необходимо чем-то позабавиться. «Я не верю, — серьезно подумала она, не верю, что и у меня остается так уж много существенных представлений о страхе, о том, как пугать людей. Возможно, сохраняется представление о Небраске, о доверии и об известных жанрах музыки, но только не о смерти. Во всяком случае, не о том, как можно произвести впечатление, и не о смерти».

Она забыла упомянуть страх перед комнатой — ведь та комната, из которой выходишь и которую оставляешь за собой открытой, может

стать жалким упущением — чем-то, что не возьмешь с собой. Необходимо припрятать все эти приметы и атрибуты возраста, все эти мелкие неэстетичные признаки забывчивости, всю эту опорную конструкцию старости, столь неприметную и вместе с тем столь явную. Сама миссис Моррис старательно скрывала все это, она пыталась восстановить понятие о ценности вещей и передумала все возможности того, каким бы образом каждый день предоставлять Линде пустую безликую комнату. Когда миссис Моррис, уже одетая, покидала свою комнату, она чувствовала себя усталой, но никогда не осмеливалась заснуть на веранде. Можно захрапеть, у тебя может открыться рот... со вставными зубами.

Пылесос Линды гудел, разъезжая взад-вперед в вестибюле, иногда он ударялся о стены и снова продолжал гудеть. Миссис Моррис спокойно засыпала, голова ее клонилась в сторону, и она беззвучно спала...

На другом конце веранды обе фрекен Пихалга, одновременно поднявшись, забрав свои книги, медленно побрели вниз к морю. Если сестры Пихалга погружались в чтение, они абсолютно отрешались от всего происходившего вокруг. А читали они почти всегда.

Когда Эвелин Пибоди, делая один шагок за другим, медленно поднималась вверх по лестнице, она несла с собой свое великое сострадание, которое лишь набухало и становилось все тяжелее и все неудобнее с каждым разом, когда она не осмеливалась защитить то, что любила.

Слово за слово и шаг за шагом перебирала она ту недостойную, да и вовсе ненужную недавнюю беседу на веранде. О, эти люди, что сорят словами, словно кидают камни и выбрасывают мусор!.. Бедный старый мистер Томпсон, который вне всего этого! Что, если бы он в самом деле умер! А она... убежала и снова солгала, ведь никакая постирушка в комнате ее не ждала... Как так получается, что тому, кто любит правду, приходится столь часто лгать, а тому, кто ищет справедливость, так трудно за нее сражаться?! Что, если бы он в самом деле умер! Ужасно! Но он имел право задавать вопросы. Мужчина восьмидесяти лет справлялся с жизнью гораздо дольше, чем следовало бы.

Ей было семьдесят четыре, абсолютно ничтожный возраст для дамы! Конечно, он тоже беден... живет в этом доме из милости, судя

по всему, за спиной у него долгая чепуховая жизнь... Так бывает по неосторожности!

Мисс Пибоди твердо решила проявлять доброту к Томпсону и выказывать ему всевозможную симпатию, ей должно это делать, хотя он — по большому счету — страшный и злобный старик!

Исключительно правды ради выполоскала она шейный платок, вытащила свое длинное серое платье и начала переставлять пуговицы на спине. Ведь со временем все больше съезживаешься и худеешь. Да и когда шьешь, мысли успокаиваются. Всю свою жизнь шила Эвелин Пибоди платья, перешивала старые, перелицовывала их, ушивала и выпускала длину. Чтобы скрыть изношенность, неудачный покрой и, наоборот, подчеркнуть то, что красиво, требовалось умение, искусство да и терпение тоже. Правда, позднее, когда она уже работала в салоне, ткани были новые, но искусство скрывать недостатки и подчеркивать достоинства было необходимо по-прежнему.

Она шила быстро и уверенно. Но теперь глаза ее выдерживали всего лишь полчаса работы, и мисс Пибоди никогда больше не шила никому, кроме себя самой. С молниеносной быстротой прокалывая иглой ткань и Делая без конца один мелкий стежок за другим — длинные ряды стежков, она постоянно думала о дамах, желавших пользоваться подмышниками, дамах, никогда потом не узнававших ее, потому что они смотрели исключительно в зеркало... А надумавшись о них досыта, она мысленно возвращалась к тому сказочному утру, когда она, Эвелин Пибоди, выиграла по лотерейному билету.

Никто из портных в то утро не работал... А мисс Арунделль воскликнула:

— Боже мой, она — единственная из всех людей!.. Поглядите на нее, она аж побледнела от радости!..

Они спрашивали ее:

— Что ты купишь?

А она лишь восклицала:

— Солнечный свет! Солнце! Солнечный свет! Отдельную комнату для себя самой!

Так она отвечала, не тратя ни минуты на раздумье. У нее было маленькое, холодное тельце, она собственноручно выиграла по своему личному лотерейному билету, по собственному лотерейному номеру, и справедливость наконец-то восторжествовала!

Когда Линда вошла к ней со свежими полотенцами, мисс Пибоди встала. Она всегда поднималась, когда к ней входила Линда. Таков был ритуал! Каждый раз ее пленяла столь невыразимо прекрасная, спокойная и ослепительная улыбка девушки, и она, прикрыв рукой губы, улыбалась в ответ. Линда неспешно вошла в ванную. Она всегда была в черном, и черные волосы искрящимся узлом спускались ей на спину. Ее совершенной красоты лицо выглядело бледным. Его осеняли лишь легкие, на удивление спокойные тени печали. Линда — мексиканское имя, оно означает «прелестная», «восхитительная».

На веранде Ханна Хиггинс продолжала вырезать цветы, держа свою «сборную селянку» перед самым носом и выстраивая в ряд у себя на коленях одну лилию за другой. Она рассказывала, что в этом году гибкой металлической проволоки, покрытой желтой шерстью, что служит для прочистки курительных трубок, нет, и пестики придется сделать зелеными. По давней привычке миссис Рубинстайн раздумывала, не стоит ли ей ляпнуть какую-нибудь непристойность о пестиках, но, утратив желание говорить, заставила опуститься свои тяжелые веки под грузом снедавшего ее величайшего презрения. Она презирала пасхальные украшения веранды, мягкий климат и вообще все, что только бывает уместно презирать в один прекрасный, ничем не заполненный день в Сент-Питерсберге штата Флорида.

Томпсон спал.

— А скоро, — сказала миссис Хиггинс, — скоро будет весенний бал, и что касается меня, я намереваюсь пойти туда в черном. Это самый подходящий цвет для старых женщин, во всяком случае там, откуда я приехала, и если ты при этом не слишком толстая.

Внезапно она выпустила из рук работу и, откинув голову, засмеялась удивительно звонким и чуть ли не простодушным смехом.

— Томпсон был бы мне неплохим кавалером — одна не видит, а другой не слышит! Ну не забавно ли это?

Миссис Рубинстайн рассеянно слушала, она разглядывала свои красивые старческие руки и украшавшие их перстни. Кольцо, подаренное Абрашей, было самым крупным, и, несмотря на вульгарность этого перстня, она носила его не снимая. Ежемесячное письмо сына запоздало уже на четыре дня. А тут: «сборные селянки»! Пасхальные лилии! Хозяйка крестьянского дома в черном!

Она обратила свое массивное лицо с выступающим вперед носом в сторону улицы, к пансионату «Приют дружбы», расположенному напротив. Обитатели этого пансионата уже вернулись с завтрака, и все кресла-качалки были заняты. «Дюжина белых лиц со взглядом, устремленным вперед, дюжина старых задниц — каждая в своем кресле, — думала миссис Рубинстайн. — А скоро они будут изо всех сил вертеть ими на весеннем балу в „Клубе пожилых“».

И добавила тихо и презрительно:

— *Gojim Naches*, что в переводе с идиш означает «их радости».

Мисс Пибоди ждала, стоя за пальмой. Незадолго до двенадцати Томпсон имел обыкновение посещать бар Палмера на углу и выпивать там кружку пива. Поговаривали, будто тем самым он выказывал пренебрежение к постояльцам, ходившим на ланч. Но, возможно, это зависело еще и от того, что у него не хватало средств и на пиво и на ланч, и он выбирал то, что любил больше.

Но вот появилась его трость, стук трости раздавался все ближе и ближе, и мисс Пибоди, перебежав наискосок улицу прямо перед ним, сказала довольно громко, что было бы приятно выпить кружечку пива.

— Пива, — ответил, волоча ноги мимо, Томпсон. — А что мешает вам выпить кружечку пива?

Здесь, на близком расстоянии, чувствовалось, что он моется не так часто, как должно бы, и было видно, что он — злобный старик. Друг за другом поднимались они молча в бар Палмера, он — впереди, она — позади, а на углу им навстречу показалась миссис Моррис, замкнутая в своей собственной уединенности. Пибоди, дернув ее за полу плаща, пылко зашептала:

— Разрешите пригласить вас на кружечку пива?

— Едва ли, — ответила миссис Моррис.

Но сбитая с толку Пибоди настаивала на своем и пыталась запутанно объяснить, что, разумеется, он — неприятный старый господин, но сейчас необходимо утешить его, ведь нужно делать все, что в твоих силах, а в каждом человеке есть что-то хорошее...

— Успокойтесь, — сказала миссис Моррис. — Зачем столько объяснений.

Они вошли в бар Палмера, и у нее молнией мелькнула мысль: какое великое сострадание возникает из чувства вины и порождает

презрение... Готовые расхожие добродетели казались ей заурядными, а мисс Пибоди ей не нравилась.

В баре было пусто. Они сели у стойки. Томпсон с краю, он заказал три кружки пива и бутерброд. Помещение было довольно темным, длинным и узким — в одном конце дверь. Совершенно обычный бар, где полки уставлены рядами бутылок и той случайной ненужной дребеденью, какой перегружают каждую полку в каждом баре. Зеркальная стена и их собственные полусумрачные затуманенные лица, такие же случайные и безымянные, как и все прочее в этом месте. Бармен молчал, повернувшись к ним спиной.

— Здесь уютно, — прошептала Пибоди. — Мисс Моррис, вы не поверите, я никогда не бывала в настоящем баре.

У пива был горький вкус.

Она положила руки на стойку и почувствовала, как удобно стало ее спине. Столы всегда должны быть высокими. Это создает впечатление покоя и надежности. А нарядные полки перед зеркалом внушали ощущение какого-то огромного чужеродного мира, весьма далекого от Сент-Питерсберга. Томпсон ел свой бутерброд и не произносил ни слова. Не привлекал к себе внимания. Пибоди достала пятерку и держала ее, скомкав в руке. Может, было еще слишком рано отдавать деньги Томпсону, это может рассердить его. Скоро весенний бал... А мисс Моррис записалась в «Клуб пожилых»? Это необходимо сделать, там столько возможностей провести

время: зал для тех, у кого есть хобби, там и бридж, и гимнастика, и уроки пения! Необходимо только, чтобы тебе исполнилось шестьдесят!..

— Действительно? — спросила миссис Моррис.

— Да, там столько всего делается для пенсионеров. Поверьте мне, нигде во всем мире нет такого места, где делается столько для нас!

Тут всегда — лето, а кругом — одно лишь море!

Миссис Моррис заметила, что все эти вещи, возможно, вполне естественны, а Томпсон сказал:

— Еще кружку пива. Да побыстрее!

— Миссис Моррис, — продолжала Пибоди. — Можете себе представить, я никогда раньше не бывала в настоящем баре!

— Да, вы говорили об этом...

— Разве? — неопределенно уронила Пибоди. — Может статься.

Немного помолчав, она упомянула, что весенний бал так же важен, как и осенний. Каждый танцует под свою собственную ответственность, а прожектор вращается при звуках танго и вальса. В бальном зале нельзя ни курить, ни пить хмельное. Платья — просто фантастика! Многие дамы принимают участие в конкурсе на самую красивую шляпу в Сент-Петербурге. А миссис Рубинстайн всякий раз выигрывает...

— Чипсы! — приказал Томпсон. — И музыку! Первый вальс у Палмера.

Бармен включил музыкальный автомат-юкс-боксен, и помещение наполнилось громкими протяжными звуками ковбойского блюза. Миссис Моррис содрогнулась, но ничего не сказала, она должна привыкнуть, она должна, музыка здесь повсюду, и от нее никогда никуда не денешься.

Но вот на углу взвыл мотор, красивый юноша с «Баунти», хлопнув дверью, вошел в бар и приблизился к стойке.

— Привет! — поздоровался он. — Мне ничего нет?

— Нет! — ответил бармен.

— Никакого письма, ничего? Ничего из Майами? Бармен ответил:

— Вообще ничего!

Джо, не глядя на них, снова вышел из бара, и мотоцикл затрещал, удаляясь вниз по авеню.

— А если хочешь танцевать, — продолжала Пибоди, — как я уже говорила, если хочешь танцевать, то лучше всего сидеть на скамьях поближе. Тогда они знают, чего ты хочешь!

— Кто — они?

— Господа мужчины!

— А где тут мужчины? — спросила миссис Моррис.

— Они циркулируют, их не так много...

— Они вымерли, — объяснил Томпсон. Он все слышал.

Пибоди, стремительно повернувшись к нему, положила ладонь на его руку, но миссис Моррис зашипела: «Шшш!»

Тогда Пибоди отдернула руку.

Грамофонная пластинка подошла к концу, пустой юкс-боксен издал царапающий звук и захватил новую пластинку, на этот раз зазвучал рок. Быть может, Томпсон любил рок. Так как он опустил

голову на руку. Возможно также, что он пытался защитить свои уши или попросту устал. Как

можно неприметней сунула Пибоди свою пятерку под его локоть, а он тотчас спрятал деньги.

— Еще три кружки! — заказал он.

— Две! — поправила его миссис Моррис. — Вам нравится пиво, мисс Пибоди?

«Возможно не очень, собственно говоря, нет...» Ей нравился бар. Мысли ее были легки и беззаботны, перелетая все время с одного на другое... «Не желает ли миссис Моррис узнать, чем она, Пибоди, занималась раньше, прежде чем появиться в Сент-Питерсберге?»

Но миссис Моррис не ответила, лишь глаза ее смутно улыбнулись за стеклами очков. Тогда, повернувшись к зеркалу, Пибоди подумала: «Ну и что! Ей никогда не понять, как это было. Она говорит: — Портниха? В самом деле? Выиграла в лотерею? Как приятно! Я рассказываю, что у нас была огромная семья, а сейчас я — единственная, кто от нее остался. — Как жаль! — отвечает она, и мы сидим здесь, и так ничего и не было сказано. А она со своими синими бровями и как будто без глаз!..»

Томпсон снова застонал, а голова его стала медленно покачиваться взад-вперед, взад-вперед.

«Ну да, — рассерженно подумала Пибоди. — Поступай, если можешь, как лучше. Мне, пожалуй, мне единственной, вовсе ни к чему одной единственной быть доброй!»

— Прекрасная музыкальная пьеса! — внезапно произнес Томпсон.

— Если уж музыка, так чтоб музыка — настоящая, да и такт они в порядке исключения соблюдают! Пибоди, суньте побольше денег в музыкальную шкатулку, у меня нет мелочи.

Миссис Моррис энергично бросила монеты в аппарат, но с места не двинулась. Раз им нужна музыка, пусть будет музыка... Да и голова у нее уже заболела... где-то в самом низу затылка. Стиснув зубы, она ждала, когда они, наконец, выпьют свое пиво.

Вернувшись назад в «Батлер армс», Томпсон, придерживав перед ними дверь, с галантным презрением сказал:

— Мои дамы!..

Пибоди, стало быть, ее имя — Пибоди! Испуганная, занятая самой собой женщина-мышка, без подбородка, с седыми кочьями волос на голове! Но она, разумеется, могла бы быть еще хуже!

Вечером в перерыве меж прибывавшими автобусами с туристами Джо снова прикатил в бар Палмера, чтобы снова услышать: почты ему нет. Он объяснил: возможно, речь идет вовсе не о письме, а лишь об открытке с красным крестом и адресом. Если там появится бумажка с крестом на его имя, он будет знать, что ему делать дальше.

— Крест, да, крест! — проворчал бармен, раскладывая на стойке оплаченные счета, все до единого перечеркнутые крестами. — Чего ты ждешь?

Джо ответил, что ждет лишь сигнала, чтоб отправиться в Майами или куда-нибудь в другое место — это очень важно. Шофер из Лас-Уласа^[2] высказал как свое личное мнение, что речь идет о контрабанде. Кое-кто мог бы разнообразия ради отправиться к своей старой бабке в Тампу^[3].

— Я заболел из-за вас, — сказал Джо. А бармен ответил:

— Боже ты мой! Нынче среди вас — будь то древний старец или новорожденный младенец — ни одного нормального не найдешь!

Тогда юноша, облокотившись на стойку, воскликнул:

— Ничего-то ты, о Господе Иисусе, не знаешь! И выскочив за дверь, с бешеной скоростью помчался вниз по улице.

Один из завсегдатаев, ухмыльнувшись, произнес:

— Неужто вы не понимаете, он из тех детей Господа^[4], что бегают кругом по здешним улицам и заставляют государство заботиться о себе! У них разбит какой-то там лагерь в Майами. Они бредят Иисусом, а заразились этим с севера...

— Они — кто? Хиппи? — спросил бармен.

— Нет, теперь уже не хиппи. Это нечто иное.

— Буза и трепотня, — заявил бармен. — Та же самая буза, только по-другому.

Среди дня Линда располагала двумя свободными часами и тогда обычно уходила к себе в комнату. Комната была мала и красива, вся от пола до потолка побелена и защищена от жары тенью густой зеленой поросли с заднего двора. Над кроватью Джо устроил алтарь и основательно набил полку всякой всячиной, так, чтоб она висела прямо. А к лампаде над Богоматерью, там, где она стояла с букетом пластмассовых цветов и сахарными черепами из Гватемалы, он протянул электрический провод. Джо чтит Мадонну, хотя интересовался больше Иисусом. Они с Линдой редко беседовали о ком-либо из них, да и зачем говорить о вещах само собой разумеющихся, таких как солнце и луна? Мадонна постоянно улыбалась. Под ней висели колокольчик, подаренный мисс Фрей, и ключи от дома.

Линда разделась догола и в абсолютном мире и спокойствии лежала в кровати, подперев рукой щеку. Кровать была хорошая, с прочными пружинами. Прекрасные картины скользили пред взором Линды, одна прекраснее другой. Первой явилась к ней мама, а потом — Джо. Мама была крупной и спокойной, и много работала, и ей вовсе не следовало тревожиться о дочери, которая так хорошо устроена! Взад и вперед бродила мама в Гвадалахаре в неизменном черном платье и с корзиной на голове, то скрываясь в базарной тени, то снова выходя на солнце; она заботилась о своей семье. Джо был устроен тоже хорошо, имел постоянную должность с большим жалованьем.

Когда Линда думала о них обоих, Силвер-Спринг^[5] почему-то становился ей ближе. Она никогда не видела Силвер-Спринга. Там, в джунглях, течет река с водой, прозрачной как кристалл, а маленькие обезьянки прыгают на берегу. За один доллар можно подняться на борт речного пароходика со стеклянным днищем и рассматривать рыб, вечно снующих над белым песком дна. Джунгли низко склоняются по обоим берегам реки. Это мягкая зеленая крыша, которая раскинулась, протянувшись на сотни заповедных,

защищенных законом государства миль в глубь Америки. И там нет ни змей, ни скорпионов!

— Дорогая Мадонна, — прошептала Линда. — Дозволь мне предаваться любви с Джо в джунглях на берегу реки. Потом, по милости твоей, мы будем брести по колено в воде, затем медленно поплывем вместе все дальше и дальше.

И протянув руку, она зажгла лампаду, но вовсе не для того, чтобы в комнате стало светлее, а чтобы почтить Мадонну. После чего, положив руки на свой прекрасный живот, заснула.

Баунти-Джо вскоре пришел к ней. Стоя в открытом окне, выходящем во двор, он крикнул в комнату:

— Эй, привет! Они забыли меня, они ничего не ответили!

Линда тихо лежала, глядя на возлюбленного, потом сказала, что надо сохранять терпение, ведь чтобы найти дом, за который не надо платить, требуется долгое время, а в домах, что подлежат сносу, жить нельзя. Полиция в Майами — опасна.

Он вошел в комнату и, отвернув лицо от Линды, сел на край кровати.

— Я не могу больше ждать и не знать, где они. Они могут быть где угодно, сюда они никогда не придут, сюда никто и ничто не приходит. Никаких писем нет. Возможно, они нашли какое-то место, лагерь или сарай, откуда мне знать! Они нашли его давным-давно, а написать забыли. И знаешь, — строго продолжил он, — ты знаешь, как только я о них услышу, я уеду отсюда, время не терпит, и поедешь ли ты со мной или нет, я все равно удержу!

— Знаю, — ответила Линда.

— А ты останешься здесь.

— У меня хорошее место, — ответила она. — И со мной подписали бумагу до самых рождественских праздников.

— До рождественских праздников! — воскликнул Джо. — Смешно! Ведь Он явится в любую минуту, а ты говоришь о Рождестве и о контракте! Дьявольщиной попахивает, когда ты так говоришь. У тебя есть шанс уехать со мной, а ты, глазом не моргнув, упускаешь его. Ты могла бы уехать со мной, чтобы встретиться с Ним.

— А если теперь Он явится снова, — сказала Линда, — если Он теперь вернется, откуда тебе знать, что Он не явится сюда вместо

Майами? Когда мир так велик, с таким же успехом, что и Майами, это может быть и Сент-Питерсберг?!

Джо встал и начал мерить шагами комнату взад-вперед, взад-вперед, объясняя, что основная проблема — это всем держаться вместе, чтобы всех было много и чтобы имелось нечто надежное, во что можно верить. Надо торопиться, сказал Джо. Он может вернуться через неделю... они бы вычислили: это может случиться именно сейчас, поэтому именно сейчас важно знать, в чем вопрос, и ждать именно всем вместе. Они играют все время. В ожидании Его они играют и бегают друг за другом и танцуют. Ждать в одиночестве — нельзя!

— Да, — ответила Линда. — Я понимаю, это важно. Тебе надо только опасаться полицейских в Майами. Они появляются на пляже в черных автомобилях, съезжают по долине вниз на прибрежный песок, а там забирают всех, кому негде жить.

Он ответил:

— Ты не понимаешь! Тысячи таких людей ждут на берегу. Они — словно одна семья. Они делятся друг с другом всем, что имеют.

Здрав полу пиджака, он показал ей на изнанке знак Иисуса — слова, сложенные из букв красного, фиолетового и оранжевого цвета: «Иисус любит тебя».

— Красиво! — похвалила она. — Но лучше бы этот знак был не внутри, а снаружи.

— Так оно и будет! У меня он будет повсюду! На кофте, и на плавках, и везде-везде, только бы получить весточку. Ты что, не видела красный крест на мотоцикле? Разве ты не понимаешь, что происходит?!

Трудно понять, почему Иисус Христос заставлял Джо пребывать вне себя от волнения! Возможно, Господь и в самом деле явится, и тогда, естественно, его следует встретить с величайшим гостеприимством: прихотливый и избалованный, Он никогда не извещал о себе заранее. Мадонна же не давала никаких сомнительных обещаний, она просто была, и из ее распростертых рук постоянно, вечно и непрерывно являлись чудеса.

— Мой любимый, мой Джо, — сказала Линда, — не сердись на меня. Я очень надеюсь, что Он явится! Запасись терпением! Они, пожалуй, напишут, как только узнают, где Он высадился на берег.

Джо разглядывал ее лицо, всегда такое спокойное... Но внезапно эта ее смиренная уверенность показалась ему ужасной. И он спросил:

— Почему ты всегда улыбаешься?

— Потому что смотрю на тебя! — ответила Линда. — Думаешь, мы успеем поехать в Силвер-Спринг прежде, чем Он явится?

* * *

Томпсон питал большую слабость к Линде. Она никогда не говорила о его коробке под кроватью, той самой картонной коробке, что вмещала его книги, коньяк, корзинку с чесноком и жестянку для окурков сигарет.

Курить в комнате было запрещено! Комната же Томпсона пропиталась насквозь застарелым запахом табака, смешанного с чесноком, и, в какой-то степени, с запахом нестиранной одежды.

Линда ничего не говорила. Казалось, она находила естественным, что скатанный коврик лежал у стены. Она понимала, что комната постепенно приобретет вид, соответствующий образу жизни ее обитателя. Абсолютно легко, чрезвычайно старательно убирала она его жилье, не нарушая установленных им порядков. Это помещение, это до крайности уютное и дурно пахнущее место, последнее укрепление Томпсона, его последний оплот, защищавший его в борьбе со всем миром, было самой дешевой комнатенкой в пансионате «Батлер армс». Всего лишь узкий прямоугольник, встроенный прямо под лестницей и обставленный мебелью, что осталась от других комнат. Через весь прямоугольник от стены к стене Томпсон повесил покрывало с кровати и жил, по существу, в той части комнаты, где находилось окно. Когда он входил сюда и закрывал за собой дверь, комната погружалась во мрак. Мрак отграничивал его вынужденную жизнь от той, что была сознательной и частной. В состоянии полного покоя ожидал он, когда же придет забвение и вождевленное умиротворение. Видения и лица исчезали, а высказанные слова стихали. Он молча ждал. Мало-помалу дневной свет начинал обрисовываться вокруг покрывала — обрисовываться совсем слабо. Тогда он подходил к покрывалу и, отодвинув мрак в сторону, вступал в

свое собственное значимое пространство, занятое кроватью, лампой и стулом.

Никто не знал, что мистер Томпсон бывает счастлив... факт, который он тщательнейшим образом держал в тайне. Женщины пугали его, те самые женщины, которые попадались повсюду и умирали слишком поздно. В потоке времени они высказали ему все самое важное так, как обычно делают женщины, они создали, они сотворили его молчание.

Сейчас, войдя в свою комнату — Святая святых, он положил деньги Пибоди в жестянку для личных нужд. Сев за стол, обращенный к окну, Томпсон стал смотреть на ту же картину, на просвечиваемую солнцем зелень, что затеняла и сон Линды. Они с Линдой — оба — жили в первобытном лесу, отгороженные, защищенные от всего на свете. Он свернул свою первую в этот день сигарету. Табак был крупный, грубый, плохо поддавался его усилиям, и несколько крошек упали на пол. Он сдвинул в сторону остатки ботинком, чтобы позднее обратить на них внимание, снова лизнул закрутку и зажег сигарету. Курение доставляло мистеру Томпсону в его одиночестве удовлетворение, к которому никогда не примешивалась радость мщения. Ни одна из этих фру с веранды, этих дам, ни одна из фрекен, из этих теток и невозможных женщин, не знала, что он курил. Он не доверял им свою тайную радость, он наказывал их, куря лишь в одиночестве.

Поскольку мистер Томпсон был женоненавистником, он частенько думал о женщинах. Его друг из Сан-Франциско Иеремия Спеннерт никогда добровольно о женщинах не говорил, но если кто-то упоминал их, он качал головой и горестно улыбался. Тем самым он, по всей вероятности, показывал, что они-де не ведают, что творят, и благодаря этому не могут быть призваны к ответу.

Вопрос, избранный Томпсоном для размышлений нынешнего дня, касался эпитета, который подходил бы женщинам. Ради Иеремии Спеннерта он хотел бы найти точное определение, одновременно выражавшее бы и то достойное, и то пленительное, что было в них. Теперь он спокойно проходил мимо тех почтительных наименований, что, благодаря табу и бесконечным эпитетам — плодам символизма, неприменимы при реальной оценке этих существ. Например, «мать», «королева-мать», «мадонна» или совсем просто — «супруга». Слова

эти являются эвфемистическим описанием фру в литературной или вообще какой-то другой фальшивой, ненатуральной связи.

Томпсон отбросил в сторону поэтические арабески, которые сбивают с толку и которых в действительности не найдешь, как-то: «нимфа», «муза», «дриада» и многие другие... Он засомневался на миг на прекрасном слове «любовница» и позволил ему уйти тем же путем. Он отбросил исключительно все, все, что носит следы небрежности или непристойности, и где-то посреди размышлений его угораздило оказаться жертвой «сестер», «теток по отцу», «теток по матери», «тещей», «свекровей» и тому подобное, но обрисовал он их почти комически при выяснении такого вопроса, как этот. Новые женские прозвища теснились, наступая на него, их было слишком много, до невероятности слишком... И Томпсон быстро принял решение, что только «леди» и «юнгфру»^[6] могут быть приняты как возможные носители восхитительного достоинства, стало быть, на сегодняшний день, только как рабочая гипотеза. Он отворил окно, чтобы впустить свежий воздух, и задумался. Вскоре он отбросил и «леди», и «юнгфру»...

Единственной истинной женщиной была Линда. Принадлежность к женскому полу ее не испортила. Чудесным, необъяснимым образом Линда спаслась...

Слабый аромат цветов проник в комнату Томпсона.

Солнце придвинулось к веранде, но все еще мешкало на заднем дворе среди зеленых ветвей, большие листья, неподвижные на всепоглощающей жаре, просвечивали насквозь, образуя красивый узор из света и тени. Предполуденное время представляло для него наибольший интерес. Всякий раз, когда он заговаривал о смерти, это бывало вызвано кем-то из тех фру, что вели себя недоступно пониманию. Томпсон с радостью вспомнил тех двух фру, что пили в его обществе пиво у Палмера. Ту крупную, молчаливую, и маленькую, неуверенную в себе, ту, что без подбородка, — Пибоди. Он хотел бы, чтобы Рубинстайн^[7] тоже была там, ее имя он произносил точно, вкладывая в него глубокий смысл и неумолимость. Рубинстайн благоденствовала и плыла в этой молчаливой тишине, сидя наискосок от него и шепча лишь о самых незначительных вещах. Она, с этим ее исполненным презрения голосом, довольным, даже самодовольным, голосом глупой женщины...

На заднем дворе стояла тишина. Гараж Юхансона просматривался среди кустов вместе с частью сарая, где хранились его инструменты, но самого Юхансона не было видно.

«Он боится меня, — думал Томпсон. — Крестный Папаша Юхансон очень боится меня!»

Вторая сигарета этого дня выкурена, а окурок спрятан в жестянке-пепельнице под кроватью. Настало время казни критикой. Книга называлась «Новые космические пространства». С внутренней стороны обложки книги, выданной на дом Публичной библиотекой, был изображен типичный мартовский ландшафт. Томпсон открыл книгу на странице, где остановился в прошлый раз, и продолжил чтение, делая микроскопические заметки на полях. Его почерк при помощи красивой шариковой ручки был крайне мелок, словно какое-то насекомое окунало свои ножки в чернила и быстро и смешно бегало по бумаге.

«Ошибка! — написал Томпсон. — На странице 60 говорится об отсутствии кислорода. Здесь разыгрывается, ничтоже сумняшеся (вообще-то, по-идиотски), любовная сцена. Слова „трепещущая жара“ употреблены три раза на последних четырех страницах».

Он продолжал читать, подчеркивая слова «мрачнеющее космическое пространство».

«Этот писака, — отметил Томпсон на полях, — болезненно влюблен в мрачнеющее, мерцающее (в известной степени, в пылающее), а также в сумерки. Все герои мужского пола ухмыляются, у них спокойные глаза, а высказываются они либо издевательски, сухо, либо со сдержанным гневом.

Женщины, когда не орут, главным образом, тяжело дышат и шепчут».

Комментарии мистера Томпсона нашли для себя самую благоприятную почву в жанре научной фантастики. В более молодые годы (когда ему было около пятидесяти), он погрузился в поэзию, но счел эту форму выражения беззащитной и, собственно говоря, не требующей комментариев. Прочитав восемь страниц книги «Новые космические пространства», Томпсон прекратил свою предполуденную игру и вытащил книгу, полученную от друга — Иеремии Спеннерта. Иногда, в минуту удрученности, он имел обыкновение читать какой-либо отрывок из этого обстоятельного

труда Гегеля только ради того, чтобы вспомнить и почтить своего друга из Сан-Франциско.

Это надолго засело в тот день у мисс Фрей в голове; она не могла забыть свое поражение на веранде, весь этот детский, чуждый ее стилю скандал, и глаза миссис Рубинстайн, и ее преисполненный презрения голос, и свое бегство в вестибюль — в свою стеклянную клетку. Стеклянную клетку для ведения книг, забытую всеми. Но она все же продолжала свою работу, тщательно вписывая в свои книги последние цифры и сверяя их, связывая в пачки квитанции на оплату, пока все не становилось таким, как должно...

Со счетами за эту неделю отправилась она в комнату миссис Рутермер-Беркли. Она не спускала глаз с двери Томпсона под лестницей, как раз в том самом месте, где коридор заворачивал за угол. Там он обычно стоял, этот старый негодяй, за самой дверью, и прислушивался. Он узнавал звуки ее шагов и совершенно неожиданно выскакивал, выкрикивая какие-то безликие слова, только чтобы напугать ее, и всякий раз она точно так же боялась снова.

«Я живу в детской комнате, — думала мисс Фрей. — Ни один человек не знает, какая жестокость скрывается в детской!»

Дверь Томпсона приближалась, мисс Фрей тщательно наблюдала за ней, она не спускала бдительного ока с замочной скважины и с яростной быстротой повторяла себе все то, что можно высказать злому старикану, высказать высокомерно, сокрушающе и независимо. Но дверь оставалась закрытой, и ничего на этот раз не произошло.

Мисс Фрей прошла дальше по коридору в угловую комнату и в приступе внезапно овладевшей ею слабости прислонилась лбом к стене и немного переждала. Затем постучала в дверь, и высокий тонкий голос ответил ей из комнаты — любезный, старческий голос мисс Рутермер-Беркли.

Ее угловая комната всегда покоилась в приглушенном освещении, дневной свет опускался в комнату, проникая через плотное белое кружево гардины, совершенно лишенной какой-либо тени. Под хрустальной люстрой овальный стол окружали обитые бархатом стулья с прямыми спинками, их было пять.

Мисс Фрей быстро подошла к столу и объяснила, что принесла недельный расчет, выполненный в той степени, в какой ей удалось его составить, все должно было соответствовать: возможно, не каждая квитанция расположена в хронологическом порядке.

— Да, дорогая мисс Фрей! — ответила владелица «Батлер армс». Понимаю, вы снова здесь со своими бумагами. Как мило!

Каждую неделю старая дама просматривала бумаги мисс Фрей. С ее стороны это была почти галантная формальность. Цифры утомляли хозяйку, они больше ничего ей не говорили, и мисс Фрей это знала. В полном молчании открывалась папка. Очень маленькие высохшие ручки, тонкие как листочки, поднимали одну бумагу за другой, чрезвычайно медленно переворачивали одну страницу за другой и снова опускали их на стол.

«Она только делает вид, — думала мисс Фрей, — но, в любом случае, она должна просмотреть расчет, должна...»

Ручки мисс Рутермер-Беркли все время медленно дрожали. Ей — девяносто три года! Как можно так ссохнуть и стать такой маленькой! Мертвые птички точно так же ссыхаются и белеют. Все становится хрупким, сосредоточенным на внутренних, частных проблемах, далеких от импульсов внешнего мира...

Мисс Фрей думала, что красивая угловая комната состарилась с такой же иссушающей душу чувствительностью, а старая мебель на ее тоненьких ножках... да еще столько накрахмаленных кружев и истертого шелка... все краски здесь поблекли, а все белое пожелтело.

— Вполне безупречно, — сказала мисс Рутермер-Беркли. — Мисс Фрей, вы разрешите предложить вам стаканчик шерри?

Но мисс Фрей не хотела шерри. Не лежало ли у нее еще что-нибудь на сердце? Быть может, он — Томпсон — по-прежнему не платит за наем? А мисс Рубинстайн курит в гостиной?

Мисс Рутермер-Беркли, вздохнув, сказала:

— Давайте расслабимся хоть на мгновение. Возможно, нам необходима чашка чая, да, это самый полезный напиток, дабы сохранить спокойствие и предаться размышлениям. Линда принесет нам по чашечке чая.

Они молча сидели в ожидании. Налив им обоим чай, Линда остановилась на пороге и одарила их своей долгой сияющей улыбкой, а затем чрезвычайно тихо закрыла за собой дверь.

Мисс Рутермер-Беркли поведала мисс Фрей, что сначала была абсолютно сбита с толку улыбкой Линды. Ей казалось, будто эта ошеломляющая манера улыбаться — пролог какой-то особого рода доверительности, что эта улыбка — подготовка какого-то сюрприза — сообщения или радостной вести. Теперь же, между прочим, она поняла: улыбка Линды была попросту феноменом, говорила о пристрастии к наслаждению и выражала интерес к наблюдению за окружающим, была примерно то же, что потрясающей красоты ландшафт.

Это, впрочем, никоим образом не отменяло чувства ожидания.

— Ожидание, мисс Фрей, становится со временем редким качеством, которое должно заботливо лелеять.

— Да, — ответила мисс Фрей. — Разумеется!

Ее работа для «Батлер армс» была бессмысленна, если никто ее не видел, и не понимал, и даже не интересовался ею, никогда не критиковал, никогда не хвалил ее, наконец, никогда ни о чем не расспрашивал. Точно так же было в банке: она — безликая банковская барышня за служебным окошком, она никогда не ошибалась, никогда не допустила ни одной-единственной ошибки.

— Возьмите печенье, — предложила мисс Рутермер-Беркли.

— Да, так вот: я смотрю на Линду, словно любуюсь красивым ландшафтом, что приносит умиротворение глазу.

— Да, да, — согласилась мисс Рутермер-Беркли, — она красива. Она встречается с охранником с «Баунти», его зовут Джо. Я видела, как он иногда рано утром выходит из «Батлер армс». — «Баунти»! — задумчиво повторила старая дама и продолжила: — Охранник с «Баунти»? Неужели они нуждаются в охраннике в нынешние времена?

— Из-за туристов! — раздраженно воскликнула мисс Фрей. — «Баунти»... Вы помните этот исторический бунт на «Баунти», а теперь он стал еще и кораблем из фильма, и им необходим красивый парень на борту. Кто-то написал еще книгу об этом. А парня зовут Джо!

— Книга написана мистером Нордхоффом и мистером Холлом, — вежливо и предупредительно сообщила мисс Рутермер-Беркли. — Прошу вас запомнить, что книгу «Мятеж на „Баунти“» написали два господина. Вы устали, мисс Фрей, и, боюсь, вы слишком

болезненно воспринимаете вашу ответственность. Не следует ли вам взять небольшой отпуск?

Кэтрин Фрей заплакала, облокотившись о стол. Она плакала, закрыв лицо руками, и вдруг, так же внезапно, как начала, плакать перестала.

— Это господин Томпсон докучает вам больше всех? — спросила старая женщина.

Кэтрин ответила:

— Не знаю. Все!..

Мисс Рутермер-Беркли осторожно поднялась и, опираясь на свою мебель, добралась до углового шкафа.

— То, в чем вы сейчас нуждаетесь, — сказала она, — это немного пилюль. Эту коробочку я получила в молодости от одного кавалера, изучавшего медицину. Насколько я помню, я использовала как-то всего лишь одну пилюлю. Большую часть я раздала, когда это было необходимо, но четыре еще остались. Их я даю вам, мисс Фрей. И предлагаю провести послеполуденное время с комфортом для себя.

Когда мисс Фрей ушла, мисс Рутермер-Беркли открыла свои учебники французского языка; ей предстоял длинный, никакими заботами не нарушаемый вечер. «*Qu'est-ce que vous voulez?*^[8] — ласково пробормотала она. — *Jamais, jamais de ma vie. Toujours*^[9]. Как это красиво звучит! Как, должно быть, прекрасна Франция!»

Только после того как ей исполнилось девяносто, мисс Рутермер-Беркли начала спрашивать себя, не прошла ли ее долгая жизнь мимо того, что в стародавние времена именовалось «сердечной радостью»? Чересчур суровое воспитание, возможно, внесло свою лепту в случившееся, но, плавным образом, и она признавала это, во всем была лишь ее собственная вина. Очертя голову, да и вопреки собственному разуму, стремилась она к совершенству и, таким образом, жила в постоянном страхе: не оставила ли она вчера незаконченными свои повседневные дела, поступки, беседы, и не уходил страх перед завтрашним днем, который должно было сформировать так, как она того желала и требовала от самой себя. Затерявшись в будущем и прошлом, она не могла жить в своем настоящем, в своем личном мгновении. Собственно говоря, очень жаль... Да и это, несомненно, упущение, которое не обрадовало бы ни единого человека. Меж тем все они — умерли, да и едва ли у нее оставалось время горевать о

содеянной ошибке, что стала к тому же до такой степени старой, наивной и старой...

Мисс Рутермер-Беркли начала вспоминать свою отринутую радость и с удовольствием заметила, что та все еще свежа и не растрачена, хотя возможности активной деятельности для нее и ограничены. Уроки французского чрезвычайно развлекали владелицу «Батлер армс». Вообще-то, сама идея радости сосредоточилась для нее ныне в абсолютных мелочах, порой исключаящих друг друга... например, отказ от старой привычки или же просто дозволение самой себе иметь возможность оставить что-то недоделанным или нерешенным, а то и позволить себе роскошь — отменить ненужный и неприятный ход мыслей.

Мисс Рутермер-Беркли развила уже в свои девяносто лет весьма разнообразную, изобилующую нюансами способность направлять по совершенно другому руслу ход своих наблюдений и воспоминаний. Благодаря сложной системе шлюзов, которая частично управлялась ее подсознанием, она являла на свет только отмеченные радостью события и то, что почитала годным к употреблению... Она навечно заблокировала большой, воспаленный воображением участок мозга — дельту. Она практиковала ныне совершенно новые иррациональные мысли. И естественно, хозяйка «Батлер армс» признавала вместе с тем очень многие из тех явлений, что, видимо, сохраняют значение в силу своей преходящей ценности. Другими словами, то было нагромождение банальных выводов, которых придерживались ее предки, влача их через всю свою жизнь, ибо никогда не могли придумать ничего лучшего.

Как бы там ни было — она радовалась, что поспешности и страху в ее жизни пришел конец!

* * *

Самым прохладным местом в доме был вестибюль, где в дальнем углу уютилась стеклянная клетка мисс Фрей. Вестибюль почти всегда бывал пуст, его посещали лишь обе фрекен Пихалга, обычно сидевшие рядом за колонной. В этом длинном помещении было полным-полно

четырёхгранных белых колонн, возведенных, дабы проходить меж ними, направляясь на второй этаж в гостиную и на веранду.

На веранде все было белым: плетеная мебель, пасхальные лилии миссис Хиггинс и рамки, украшавшие загадочные групповые снимки со смотрящими прямо перед собой белыми лицами стоящих, сидящих и лежащих рядами людей. Пенсионеры в диковинных шляпах, сгрудившиеся для группового снимка. Справа и слева от этих боязливых, тесно сжатых групп фотограф оставлял довольно заметные поля неопределенно-серого фона.

— Эта комната — спокойна и красива, — сказала фрекен Пихалга.

Ее сестра, не прекращая чтения, только кивнула в ответ; на какой-то краткий миг их руки соприкоснулись.

Мисс Фрей они были не по душе. Всякий раз, отрывая взгляд от своих бумаг, она видела их — ужасно тощих, и у каждой — свой собственный ястребиный профиль, склоненный над книгами. Никто не знал, что они читали. Никто не знал больше того, что некогда, в двадцатые годы, они прибыли с Балтики в Европу. Они всегда перебирались в вестибюль, когда на веранде становилось слишком жарко.

«Старые вороны, — думала мисс Фрей, — неудачницы с вытянутыми лицами. Боже, какое здесь кладбище!»

Поскольку у сестер Пихалга были одни и те же воспоминания, те же самые мнения и недуги, они не часто беседовали друг с другом. То, что они говорили, носило скорее интимный характер, своего рода спокойное узнавание, концентрацию близости и прав на тебя другой сестры. Читали они — постоянно. Порой, когда одной из них встречалась какая-либо занятая формулировка или интересное высказывание, она тихонько притрагивалась к руке сестры, а та опускала свою книгу на колени, дабы прочесть указываемые ей строки. Затем они, придвинув стулья совсем близко друг к другу, продолжали свое занятие. Их кроткая, медленно текущая, тихая совместная старость была, возможно, той наградой, которой они считали себя удостоенными после жизни, полной непредвиденных, непрерывных перемен, вечных отъездов, постоянных встреч с новыми людьми, которые, хотя и оказывались совсем рядом, но отнюдь не становились им близкими.

Сомнительно, чтобы постояльцы пансиона «Батлер армс» уважали окончательно сложившийся образ жизни сестер Пихалга или же просто-напросто думали: «Обе фрекен — скучны». Во всяком случае, они оставляли сестер в покое, а их поведение вовсе не комментировали.

Пожалуй, главную роль играло тут некое небольшое опасение, какое-то нежелание, которое нельзя облечь в слова. Фрекен эти были ужасающе и откровенно стары, и даже не годами, а тем, что они, казалось, не обращали внимания на ход времени и на возможное его для них прекращение. Своим видом и молчаливостью они как бы служили напоминанием...

Никто не спрашивал их, что они читают, хотя обложки книг из библиотеки, выдававшей их на дом, всегда были одинаковы.

«Политика», — думала и миссис Рубинстайн, но произносила вслух это слово, по всей вероятности, только ради того, чтобы удивить других. «Майами, — подумала мисс Фрей. — Отправиться бы туда. Никаких неудачниц в вестибюле, никакого старого черта в комнате номер четыре, никакой веранды... Теплый песок, оркестр в отеле... я пью бренди на террасе...»

Она поискала гарантийный талон на холодильник и стала вытаскивать один за другим ящики. После небрежных поисков она снова задвинула ящики обратно и начала думать с самого начала: «Нет, вовсе не Майами. Никаких красивых людей, которые танцуют и бросают мяч на пляже, нет — не Майами! Я никуда не поеду».

Она снова вытащила верхний ящик, и там как раз и нашелся гарантийный талон. Она позвонила на фирму. Никто не ответил, и мисс Фрей вспомнила, что сегодня — воскресенье. То был день, предназначенный для отдыха и раздумья. Не заперев дверь стеклянной клетки, она поспешила выйти в вестибюль, пересекла задний двор и, войдя без стука к Юхансону, смотревшему телевизор, сказала:

— Холодильник! Он не работает. Вот гарантия, так что вы, Юхансон, можете позвонить на фирму завтра.

— Положите на стол, — ответил он. Положив гарантийный талон на стол, она, раскаленная до предела, подумала:

«Если когда-нибудь мне не придется нести никакой ответственности вообще, я ни в коем случае, ни одного-единственного

раза не войду в дом других людей! Никогда не войду в их комнату и не пройду даже мимо этих комнат! Они ужасны и недоступны, когда прячутся в своей дыре со всеми своими вещами».

Она ждала, стоя за его спиной. Через некоторое время она сказала, что лужайка так красиво подстрижена...

— Да, она подстрижена, — не поворачивая головы, ответил Юхансон.

Мисс Фрей вышла. Разумеется, виноват Томпсон. Томпсон снова раздражил Юхансона и налетел на него, словно злой дух! Она-то знала! Такой добряк, как Юхансон, не становится холодным и грубым из-за того, что сегодня воскресенье!

Задний двор покоился, опаленный жарой, в тиши своих стен; она прошла меж кустов прямо под окнами Томпсона. Дерзко и не маскируясь, уставилась она на Томпсона, сидевшего на своем месте с перекошенным лицом, после одному лишь Богу известно когда случившегося с ним паралича, и с гигантскими бровями, что делало его похожим на обезьяну.

Кэтрин Фрей подошла ближе. Без малейшего предлога, не отворачиваясь, смотрела она прямо на него, так, как смотрит животное на своего врага, и именно в такой момент оно ужасно...

Слабый ветерок шевелил листву, и тени меняли свое очертание. В какой-то миг Томпсону показалось, будто женщина, стоявшая за окном, оскалила зубы. А может, она плакала. Он отодвинул стул подальше в комнату и попытался продолжить чтение. Через некоторое время он, злясь, снова вернулся к окну, но зелень, как обычно, была нетронута и красива.

— Тигрицы и самки из племени шакалов, — самому себе сказал Томпсон. — Я живу в джунглях! Собственно говоря, Томпсон не очень докучал кому-либо, пока держался в своей комнате, но он нарушал гармонию в «Батлер армс» тем, что никогда не мог сохранять ровные отношения с Юхансоном. Он заставлял Юхансона злиться и, что было общеизвестно, делал это намеренно. Долгими часами, сидя в зеленом полумраке у своего окна и вглядываясь в кусты на заднем дворе, он пристально выслеживал, чем занимается Юхансон. Среди листвы виднелась лужайка и часть дома Юхансона. Дома со скошенной крышей, склонявшейся к стене со стороны Лас-Уласа, а все вместе это было — едва ли больше длинного сарая. Там у Юхансона имелись две

комнаты, гараж и открытый сарайчик с его инструментами, садовыми лопатами, с лейками и с корзинами для бутылок.

Юхансон был шведом и однажды переплыл океан прямо из Гётеборга. Сейчас ему шел шестьдесят первый год, и он был весьма доволен тем, что имел и чем занимался. Тихий, не глядя людям в лицо, обихаживал он то, что следовало обихаживать в пансионате. Обремененный всякого рода хлопотами, он преодолевал их в своем собственном темпе, иногда после краткого совещания с мисс Фрей.

Обе его комнаты были опрятны и безлики, он регулярно и без особой фантазии питался в одной, а в другой — спал и смотрел телевизор, не раздражаясь и не удивляясь ничему, что видел на экране. Для пансионата «Батлер армс» было небезразлично то, что там служил Юхансон. Казалось, он утверждал: существование, бытие — обычное дело, которое можно упорядочить. Постояльцы и он сам не имели обыкновения болтать друг с другом, но прекрасно было просто наблюдать, как он хлопочет вокруг дома, неторопливо бродит туда-сюда, всегда на пути к чему-то, что не в порядке, но вскоре должно функционировать так, чтобы соответствовать вашим ожиданиям.

Гнев, пробуждаемый в Томпсоне Юхансоном, был совершенно непонятен даже ему самому. Сидя много месяцев у своего окна, он следовал вместе с Юхансоном в его неспешных странствиях — в столярную и в сарай с инструментами. Юхансон мирно брел то туда, то обратно с лопатами, граблями и электропроводами, жестянками с мастикой или краской, с удобрением для растений и крысиным ядом. Но это всегда были исключительно важные и нужные жестянки, которые предназначались для важных дел.

И пока время шло, Томпсон гневался все больше и больше, сам не зная почему.

Позднее он пытался дразнить Юхансона, пытался заставить его разозлиться или шокировать его, но Юхансона было ничем не пронять, даже мерзкими высказываниями о Гётеборге. А позднее, в один злосчастный день, Томпсон обнаружил его слабое место: Юхансон терпеть не мог, когда кто-нибудь брал его вещи. А вещей у него было великое множество. Он любил свои инструменты, образцово содержал и смазывал их маслом, он любил лопаты, грабли и все прочее в этом роде, любил неизменно исправный, обихоженный рабочий инвентарь для своего садика — таинственные жестянки,

шланги, электрические провода, машины. Да, машины он любил больше всего, но всем им предпочитал автофургон, стоявший в его гараже. Автофургон был без единого пятнышка, и Юхансон ухаживал за ним, как за ребенком.

Вот так все и начиналось. Юхансон научился бояться Томпсона и утратил покой. Происходило это примерно так: Томпсон подходит, хромая, к нему, взглядывает исподлобья и спрашивает:

— Может, у тебя есть доступ... — и тут он делает садистскую паузу, — может, у тебя есть доступ к стамеске поменьше? К острой?

И Юхансон видит уже свою стамеску уничтоженной в консервной банке, в замке, стамеску, попавшую бог знает в какую ужасную ситуацию... Лицо его искажается от боли, и он проходит мимо...

Постепенно Томпсон становился все более и более изощренным. Он хотел бы одолжить рубанок, точный измерительный прибор, дрель... Он становился все более и более изобретательным, хотя ему ровно ничего не одалживали, однако же вопросы его порождают страх в мире Юхансона. Каждый новый вопрос обрисовывал резко очерченную картину уничтожения его безупречности, совершенства этого мира. И картины этого уничтожения преследовали Юхансона, отравляя его спокойные странствия вокруг пансиона «Батлер армс». «Этот черт, — думал Юхансон, — если б этот старый черт знал хоть что-либо о рубанках, он попросил бы меня одолжить ему мой „Дабл Даймонд“^[10], мой „Стэнли“ ...» И одна лишь мысль об этом поражала его, словно удар электрического тока по зубам. Томпсон вытягивал шею, сидя в своей комнате у окна под сенью листвы, там, в своем садике он ходит, словно Крестный Отец, занимаясь своими делами, и знает, как всему должно быть, а для всего, что не работает, есть у него свой придуманный им лично специальный инструмент, инструмент, который можно употребить только для одного-единственного благословенного дела. Ох уж этот Крестный Отец Юхансон со всеми своими кнопками для звонков и воронками!

Теперь, много позднее, отношения Томпсона с Юхансоном достигли апогея и доставляли множество неприятностей обитателям пансионата. Гибискус^[11] в «Батлер армс» стоял в цвету, и однажды ранним утром Томпсон вышел из дома и оборвал все цветы. Найдя в гараже клей, этот «старый черт» залез в автофургон и там на

приборной доске принялся накрепко приклеивать цветки гибискуса к каждой кнопке. Чего же он добился и ради чего все это затеял, так и осталось совершенно непонятно.

Юхансон пожаловался мисс Фрей, раньше он никогда не жаловался. Дело дошло и до мисс Рутермер-Беркли. В ответ на требование наказать виновного она возразила:

— Дорогая мисс Фрей, нам не должно проявлять опрометчивость. Подобное поведение нельзя однозначно квалифицировать, равно как и то, что мы называем душевной болезнью.

Она рассматривала свои руки, что часто делала, принимая в какой-то момент трудные решения, и объяснила, что грань между просто непостижимым и абсолютным помутнением рассудка определить очень сложно.

— Мы не можем знать, какими неисповедимыми путями движутся мысли и представления старцев. Вполне возможно, что, согласно мыслительным образам Томпсона, существует объяснимая идея в параллели: гибискус — приборная доска автофургона.

Тем самым владелица пансионата никоим образом не желала отрицать, что мистер Томпсон пытался выглядет отвратительно.

— Но помутнение рассудка, мисс Фрей, — дело серьезное. Это обвинение, которое совесть не позволит нам взять на себя! — произнесла хозяйка.

— Откуда же нам знать! — воскликнула мисс Фрей. — Откуда нам знать, чем кончит один и что начнет вытворять другой! В один прекрасный день он спалит весь дом!

Желая отделаться от нее, мисс Рутермер-Беркли ответила, что абсолютное знание — немислимая вещь, и с этими ее словами беседа прекратилась.

Потом она подумала, как правильно было твердо настаивать на своем в силу присущего ей возраста и интуиции. Ей хотелось бы защитить тот избыток рационализма, который копится в течение всей долгой жизни. Она полагала, что подобный излишек — естественный продукт пережитого и, стало быть, вполне объясним, так что незачем беспокоиться. На свете есть множество людей, профессия которых состоит исключительно в том, чтобы давать объяснения. Для нее же имело значение лишь следующее:

— Наши постояльцы живут здесь и имеют право претендовать на защиту. За пределами Сент-Питерсберга вырвалось на волю всякого рода злое безумство и дикость... Тут уж ничем не поможешь! Но я возвела дом над тем безумством, что безобидно. И ему должно по-прежнему обитать в мире и покое до тех пор, пока я жива.

Над комнатой мисс Рутермер-Беркли жила миссис Моррис. Во время кратких сумерек она имела обыкновение подходить к окну и смотреть, как волшебный корабль «Баунти» зажигает огни. Каждый вечер оснастка корабля освещалась огнями иллюминации. Ах, эти темно-синей глубины теплые вечера, столь далекие от родного штата Небраска!..

Улица, такая же пустая вечером, как и днем, прямая широкая эспланада, освещенная неоновыми лампами, напоминала порой театральную сцену, где только что подняли занавес. Далеко-далеко на заднем плане виднелся пришвартованный у пирса корабль с двойными рядами желтых фонарей на палубах.

Для каждого, кто посетил Сент-Питерсберг, казалось естественным прежде всего подняться на борт «Баунти», и все постояльцы «Батлер армс» давным-давно там побывали. Однако мисс Моррис все еще одолевала сомнения: возможно, «Баунти» красивее всего на расстоянии. Ей хотелось сбегать свое собственное представление об этом огромном спящем корабле.

В Страстную пятницу Элизабет Моррис проснулась в сумерках; ее слегка знобило, и ей показалось, будто настало утро. Поняв, что уже вечер, она совершенно нелепо почувствовала себя удрученной. Причины для грусти не было никакой, теперь ее больше не было, и она это знала. А спать среди бела дня — вовсе не стыдно. Но каждый раз, когда это случалось, на нее нападало одно и то же боязливое ощущение потерянного рабочего времени, муки той же самой нечистой совести, которые долго не проходили.

В доме стояла тишина, но внизу кто-то смотрел едва слышный отсюда телевизор. Миссис Моррис накинула на плечи плащ и подошла к окну: корабль был освещен. «Музыка за кулисами, — здраво подумала она, — прекрасная картина корабля на фоне вечернего неба в самом начале фильма или, возможно, в конце. С моей собственной, принадлежащей мне музыкой. Вообще-то я сочиняла очень хорошую музыку...»

Пока она разглядывала гирлянды светящихся лампочек, великолепная картина пред ее глазами внезапно утратила свое содержание, утратила очарование всех долгих вечеров, вечеров, походивших один на другой, словно жемчужины, нанизанные на одну нить. И миссис Моррис увидела, что эти светящиеся точки с таким же успехом могли бы висеть и над бензоколонкой.

Она заинтересовалась этим явлением. Лишая корабль его сказочности, вырывая его из юдоли грешной земли, она представила себе Тиволи^[12] у моря. Это было легко, стоило только услышать другую музыку. Она подумала: «Stffle Nacht»^[13], мысленно превратив лампочки в рождественскую иллюминацию. Наконец корабль совершенно исчез, театральная кулиса на заднем плане сцены стала совершенно безликой, произвольной. Элизабет Моррис отошла от окна. Взяв свою трость, она стала как можно беззвучнее спускаться по лестнице.

Они сидели в гостиной, шла пасхальная программа, и никто даже не голову повернул, когда миссис Моррис вышла на веранду и проходила мимо. Отдаленные звуки органа, рыдающие и горестные, следовали за ней еще некоторое время, потом же она слышала лишь звуки шагов своих собственных ног, обутых в широкие сапожки, идущие все дальше и дальше по тротуару, да резкий, мерный, с интервалами в три такта, стук трости. С моря дул ветер и шелестели пальмы; нынешним вечером на улице не было ни души.

Там, где кончался город, пересекла она песчаную прогулочную дорожку на берегу и вышла к набережным. Пирс покоился во мраке, окруженный высокими стенами объявлений, этими гигантскими дисками, стоявшими на крепких ножках и скрепленными стальными тросами. Моря не было видно.

Миссис Моррис вытянула шею и попыталась расшифровать эти громадные картины и буквы: «Музей цирка в Сарасоте»^[14], «Круиз при лунном свете в Тампе...», «Алоха»^[15]... «Мечта о Таити — Мифический корабль „Баунти“». Корабль был укрыт за палисадником. В дальнем конце дверь и запертая касса. Перед палисадником качались на ветру ветви больших темных деревьев, шелестели заросли сахарного тростника, а земля была усеяна упавшими цветами.

Высоко наверху колыхались клотиковые огни^[16] пришвартованного корабля. Кинокамера могла бы зафиксировать их, пройти мимо пирса, и города, и всего мира, чтобы только произвести съемку этих фонарей и постоянно повторяющихся спокойных движений топ-мачт на фоне вечернего неба. Символ моря, корабля и приключений, музыка на заднем фоне, fade out^[17].

Прямо напротив, на другой стороне пирса, находилась бензоколонка и «Клуб пожилых» — низкое цементное серое здание. Огромное поле стоянки автомашин было пусто. На все усиливавшемся ветру вокруг по асфальту влачилось несколько разорванных газет, то останавливаясь, то продолжая описывать точь-в-точь такие же круги. Было холодно.

Можно ли предоставить кинокамере право запечатлеть и отвергать, обрисовывать целые картины красот, а ненужное — оставлять нерешенным? Мыслимо ли это?

«Разумеется, — думала Элизабет Моррис. — Так оно и есть. Но это абсолютно невозможно».

Она начала мерзнуть и тем же путем вернулась в пансионат.

* * *

После проведенного вместе субботнего вечера Баунти-Джо и Линда возвращались домой, они шли вместе столь легко и так близко друг от друга, что движения их напоминали сдержанный таинственный танец. Серебряный пояс Джо тяжело свисал на бедра, пряжка пояса представляла собой две большие распростертые руки. Знак Иисуса был изображен на изнанке пиджака Джо, он был там — он существовал лишь для него одного.

Когда Джо с Линдой ходили на танцы, они никогда не пользовались мотоциклом, она боялась ездить на такой опасной машине. Теперь она снова заговорила о Силвер-Спринге. Разговоры ее всегда были о Силвер-Спринге, о реке в джунглях и о лодках со стеклянными днищами, о том, чтобы любиться на берегу, а потом плавать в море, о белом песке, о прозрачной воде, о чудесном парке за один доллар... Когда же они поедут туда?

— Придет время... — обещал Джо, — конечно, придет время, и поедем...

Она спросила:

— А мы успеем до того, как явится Он?

Но Джо не хотел больше говорить о Нем с Линдой, не хотел выслушивать ее разумные утешения, лучше уж просто страстно желать в мире и покое...

Она, преуменьшая горе любимого, не облегчала его, а он желал, чтобы все оставалось, как прежде. Во всех окнах было темно, нигде ночь не спит так долго, как в Сент-Питерсберге.

Силвер-Спринг! Его реки не сдерживают свои потоки в пределах города, они бросаются в море! Его купелью был Атлантический океан, а святость его воды — столь велика! Все равно что плавательный бассейн с огромной силы напором воды. Там, в Майами, они идут — бредут по колено в воде, дабы окреститься. Одни идут медленно, другие бросаются в буруны, словно в объятия, храня свое знание... что никогда больше не будут одиноки! Тысячи людей Иисуса, стоя на берегу, играют на гитарах — их тоже тысячи — в совершенном и свободном ожидании...

Он видел их! Они молча стояли, а ветер развевал их длинные власы и рваные одежды, и они летали, словно вымпелы... Весь высокий берег салютовал Иисусу! Люди Иисуса обнимали друг друга в воде и, смеясь, взбегали на береговой откос, дабы начать наконец новую жизнь.

Линда подумала: «Теперь он скоро уедет. Он откажется от своей прекрасной работы. Каждый должен решать для себя сам, и тот, кто хочет идти вперед, не должен мешкать. Объятие — милость Мадонны, но вовсе не то, что можно сохранить...»

Они расстались, как обычно, у веранды, она поднялась на крыльцо, а он продолжил путь вниз по улице; на углу он положил руку на перекладину и легким движением перемахнул через забор в сад пансионата.

После полудня, когда небо на Западе уже совсем позолотилось, Элизабет Моррис снова вернулась к волшебному кораблю «Баунти». По дороге вниз, в гавань, она увидела миссис Хиггинс, что шла в ту же сторону. У Ханны Хиггинс был с собой небольшой мешочек, и она смотрела на верхушки пальм, нет ли там белок. Сзади ее фигура

казалась еще более овальной, чем обычно, по-настоящему черно-овальной, а голова с необычайно крохотным узелком волос выглядела совсем круглой. Она словно сошла с детского рисунка.

Пальмы были также словно нарисованы ребенком. Одни лишь косые, бутылочной формы стволы с неопределенной путаницей наверху. Но вот она зашла за пальму и начала рыться в своем мешочке. Миссис Моррис ускорила шаг и попыталась успеть пройти мимо.

— А, так ты тоже гуляешь на воздухе, — сказала миссис Хиггинс. — Мне немного трудно смотреть ввысь, голова идет кругом. Есть там белки?

— Что-то не вижу, — ответила миссис Моррис, пристально вглядываясь в верхушки пальм.

— Странно! Стоит не взять с собой орешки, как белки повсюду так и скачут. Ты любишь орехи?

— Нет, не особенно!

— Они застревают в зубах?! — как бы соглашаясь с ней, искренне воскликнула миссис Хиггинс. — А от того, что застревают во вставных зубах, ничуть не лучше!

Она продолжала едва слышными шагами медленно идти вниз по улице и все время без умолку болтала:

— Веселенький этот городок, старики и старухи болтаются тут на каждом шагу, и разве это не отличная идея — собрать нас всех в одном месте? Чтобы нам было хорошо, а мы бы никому не мешали, ни у кого бы не путались под ногами? Здесь немало найдется на что посмотреть, да и все неподалеку! В воскресенье я побывала в городском парке и слушала концерт детского оркестра, который для нас устроили. Ты любишь музыку?

— Иногда, — ответила Элизабет Моррис.

— Да, иногда, это так верно! Музыка — это очень важное дело, и ее ведь все время можно слушать. А красивее всего звучит труба!

— Разве? — удивленно спросила миссис Моррис.

Ханна Хиггинс рассмеялась своим заразительным смехом, что был так неслыханно, не по возрасту молод. И мало-помалу, по-прежнему также шумно и весело, стала рассказывать, что ее внук — сын ее сына — трубач! Играй он на саксофоне, самым лучшим в мире был бы саксофон, так уж водится в этой жизни.

У прибрежной прогулочной тропки она остановилась, поглядела налево, потом — направо, но ни одного автомобиля не было видно. Она сказала:

— Теперь можно перейти дорогу!

Миссис Моррис ждала, что услышит больше о ее внуке, но миссис Хиггинс сказала только, что небо сегодня — золотистое, и спросила, была ли она на борту «Баунти»? Если она идет туда впервые, ей лучше пойти одной.

— Я подожду тебе на воздухе, — сказала миссис Хиггинс. — Там есть удобная скамейка и клетка с маленькими обезьянками.

Заплатив за билеты в кассе, они словно бы вошли на остров Таити, напоминающий мечту, — остров маленький, но очень романтичный. В густой субтропической зелени раскинулись хижины, покрытые пальмовыми листьями. Там можно было найти все те сувениры из раковин, кораллов, лавы, бамбука или алебастра, каким только может придать форму превратное, но страстное стремление к красоте. И над всем этим пространством витал сладкий удушающий запах смазанного маслом дерева.

Наполовину скрытые кустами, виднелись домики, где находились туалеты, а также кафе и буфеты, где можно было освежиться, где продавались соки, разные напитки, фрукты и конфеты. Красивая и очень нарядная девушка предлагала сувениры — маленькие пиратские суденышки и пластмассовых русалок.

— Здесь я и сяду, — сказала миссис Хиггинс. — Не экономь время, ведь здесь можно многое посмотреть.

У обезьянок в их клетках были шарообразные белые мордочки с черными глазенками и черным же носиком, маленькие меланхолические черепушки-скелеты. Миссис Моррис пошла дальше, она видела тотемные столбы и аутрштер^[18], полностью заклеенный иплистыми глубоководными раковинами, и остановилась перед изображениями: «Ты-Сам в Южном море», а еще «Господин и фру Таити», вырезанные в натуральную величину из фанеры! Он — в синем мундире, а она — в юбке из полос лыка. Головы ни у одного из них не было. За пятьдесят центов можно было отдать им свою собственную голову и сфотографироваться.

А теперь, только теперь, Элизабет Моррис подняла глаза и стала рассматривать «Баунти». Она ничего не знала о кораблях, но видела,

что это судно — изумительно красиво. Золотистая и темно-синечерная, высоко на фоне неба поднималась в невообразимой красоте парусная оснастка корабля. И берег вокруг мисс Моррис исчезал, когда она шла к ожидающему ее «Баунти».

Джо стоял у сходней. На голове у него красовался венок из пластиковых орхидей.

— Привет! Алоха! — сказал он с легкой профессиональной улыбкой и протянул ей искусно сделанный цветок гибискуса. Однако цветок был жесткий и вызывал неприятное ощущение в руках.

— Привет! — поздоровалась миссис Моррис, — разве не на Гавайях говорят «алоха»? Так же приветствуют и на Таити?

— Не знаю! — ответил Джо. — А что? Это так важно?

Стало быть, это был Джо с мотоциклом, Джо, которого любила Линда! Миссис Моррис сняла солнцезащитные очки и объяснила, что он абсолютно прав, приветствие имеет ценность само по себе и в переводе не нуждается, после чего она поднялась на борт.

Автобус с туристами из Таллахассии^[19] еще не пришел, и она оказалась одна на палубе. Просторная лощеная палуба в ее мирной протяженности и законченное, совершенное соответствие ее частей вызвали восхищение Элизабет Моррис. Наконец-то она увидела вокруг себя планомерность в чистом виде, мир, исполненный окончательного, не подлежащего пересмотру или отмене смысла. Здесь не было ничего случайного и ничего ненужного.

Испытывая почти благоговейные чувства, спустилась миссис Моррис вниз под палубу. Застывшее низко над горизонтом солнце окрасило кормовую часть судна темно-золотистым сиянием. Нигде, и она это прекрасно понимала, так не обихаживают место, где живешь, как на корабле. Каждая деталь была искусно выточена и отделана, каждая поверхность тщательно отполирована, беспредельно чиста, а медь и дерево отливали цветом меда или коричневого лоснящегося сиропа. Высоченные окна отбрасывали четырехугольный сноп света аж к самым ногам. «А когда умрешь, — с внезапно проснувшимся интересом подумала миссис Моррис, — когда, стало быть, покинешь свою комнату...» Пожалуй, было бы возможно, да, это мысль: оставить им сверкающую пустотой комнату, освобожденную от всяких вещей и чистую, как палуба.

«Ничего пролитого, никакого беспорядка — признака того, что тянется следом за исполненной усталости жизнью, за привычкой и забвением, этим мусором проведенных дней, позорной слякотью бытия».

Внезапно ей пришли на память слова: «Что-то медленно трещало в корпусе корабля», — предположительно, цитата в одной из тех приключенческих книжек, которые она так любила...

Она прошла дальше в идеально ухоженное помещение и увидела неподвижного и озабоченного капитана, склоненного над картой. Он опирался руками на стол. Он был из воска.

«Нет», — прошептала Элизабет Моррис.

Повернувшись, она поспешила стыдливо убратся отсюда прочь, прочь от этого странного корабля, где и нашла их всех, одного за другим застывшими в позе напряженной бдительности, страха или гнева, нашла всех этих корабельщиков — давным-давно почивших в Бозе и непристойно воплощенных в воске.

Миссис Моррис охватил страх, она хотела поскорее пройти через трюм, но не смогла найти лесенку. Наверху на потолке включились громкоговорители, — звуки, похожие на гавайскую гитару, размягчающие душу, неотшлифованные звуки, будто падающие на нее сверху...

Она попала в полосу голубоватого света неоновых ламп, и там, в своей камерке, при свете собственного своего прожектора лежал он, умирающий в одиночестве человек с открытыми глазами и впавшим ртом. Одна рука свисала с края койки, желтая, ужасающая, поросшая черным волосом рука. Они принудили его уронить свою фляжку, и темная жидкость призрачным иллюзорным потоком выливалась из нее, растекаясь по полу.

Обернувшись, миссис Моррис обнаружила лесенку. Поднявшись вверх на палубу и взявшись за перила, она оперлась лбом о свою руку.

— Алоха! — произнес Баунти-Джо. — С вами все all right?

— Да, all right, — ответила миссис Моррис. Она попыталась разглядеть Ханну Хиггинс и скамейку возле обезьяньей клетки, но с пирса струился поток людей, мешавших ей видеть.

— Старой даме сделалось худо, — сказал Баунти-Джо. — Она уехала домой. Я раздобыл ей машину.

— Ей было очень плохо?

— Не знаю. Она не захотела, чтоб я ее сопровождал. Я бы охотно проводил ее, я это делаю часто. Такое случается здесь все время, уж поверьте мне!

— Абсолютно верно, — согласилась миссис Моррис. — Алоха!

На обратном пути ей попалось множество белок. А на веранде почти все места были заняты.

— Никакой опасности, — заверила ее мисс Фрей. — Ханне Хиггинс лучше, у нее есть все необходимое. Но долгие прогулки неразумны... я ведь говорила, что вам надо отправиться в парк, а не на берег, это слишком далеко.

Миссис Моррис поднялась вверх по лестнице и, постучавшись, сказала:

— Это всего лишь я!

— Войдите, войдите! — ответила Хана Хиггинс.

Она лежала под покрывалом. А виновниками белых кругов под ее глазами были лишь пальмы.

— Ведь смотреть вверх нельзя, это вредно. Я знаю, что это вредно. Но сейчас меня немного вырвало, и стало легче. Ну, как тебе кабинет восковых фигур?

— Он сделан очень искусно!

Миссис Хиггинс устроилась поудобней в кровати и стала смотреть в потолок.

— Странные дыры... — сказала она. — Мне не очень по душе кабинет восковых фигур, но корабль нравится.

Миссис Моррис медленно ходила по комнате... сколько тут фотографий и разных безделушек! Слишком много свидетельств о путешествиях и видов тропических красот... А на самой середине стены — большое бархатное панно с изображением дельфинов на фоне солнечного заката; они были забрызганы каким-то жиром.

При виде всего этого трудно было поверить, что миссис Хиггинс собственноручно выбирала предметы убранства. У нее ведь был внук, игравший на трубе, возможно, имелся и другой — моряк...

— У меня четырнадцать внуков, — произнесла со своей кровати миссис Хиггинс. — Вот здесь их фотографии, а вот там фотографии их родителей. Но тебе эти фото не так уж много скажут, если я не объясню, кто есть кто. Они все — нормальные ребята. — И добавила: — А моряк выучится на капитана.

Миссис Моррис переходила от одной картины к другой и наконец, подойдя к кровати, спросила, какую музыку любит и играет внук Ханны — трубач.

— Рок, — устало ответила миссис Хиггинс. — Противный рок! — Она закрыла глаза.

Немного погодя Элизабет Моррис отправилась в свою комнату и там вновь наложила слой синей краски на брови, слой еще более синий, чем раньше.

Миссис Рубинстайн сушила высоко поднятые в сложную корону седые волосы у своей парикмахерши. Заполнившая собой весь стул и утончавшаяся снизу вверх, словно кит, она, с ее округлой спиной, которую обретаешь в процессе долгой жизни, выглядела все же очень статной. Мысли ее — великие и мрачные, были обращены в прошлое и вращались, как всегда, вокруг собственной семьи, ее громадной и далекой ныне семьи.

Миссис Рубинстайн была женщиной сильной и властвовала над своими близкими во втором и даже в третьем поколениях. Но все ее близкие жили уже самостоятельно и, казалось, справлялись с жизнью, поскольку она так редко слышала о них в последнее время. Или же они, возможно, помалкивали, потому как дела у них шли плохо. Однако, как бы там ни было, она постоянно воспринимала их всех лишь как сгусток бестолковой энергии на мрачном фоне, напоминавшем гравюры из Библии, гравюры, преисполненные ночных и могучих световых контрастов, изображающих детей Израиля, бредущих по пустыне, либо танцующих вокруг Златого Тельца, или радующихся на земле Ханаанской.

Она думала о том очень длительном времени, когда ее воля и интеллект формировали новехоньких рубинстайнов, а также тех, на ком они женились, а также за кого выходили замуж или с кем разводились. Оценивая таким образом свое время, когда она блистала и ощущала свое влияние, дававшее цепную реакцию вкупе со склонностью своих родичей отправляться в иноземные страны, все более и более чуждые и отдаленные, и там продолжать посеянное ею, миссис Рубинстайн казалось, будто она несет с собой как тяжелое бремя своего семени — весь земной шар!

Чудесно, что ход времени свел мелкие детали в единое целое. События, лица и слова, скользя все больше и больше, сливались воедино в огромное ползущее скопище потомков, заполонившее всю землю. Один только сын ее — Абраша — был абсолютно ясен. Детство Абраши, его юность и средний возраст — они никогда не меркли в ее памяти.

— Слишком жарко, — заметила миссис Рубинстайн, и парикмахерша, ослабив горячий поток воздуха из сушилки для волос, выложила перед ней стопку еженедельных журналов. На обложке была изображена прыгающая в волну купальщица с длинными черными волосами, множеством белых зубов и маленьким круглым животиком, что со временем мог и увеличиться... Возможно, там поселится новый рубинстайн, — подумала старая женщина, — ведь они так и кишат повсюду.

Она закурила сигарету и с немалой горечью прищурила глаза, оценивая разглядывая себя сквозь струйки дыма в зеркале.

* * *

Вечером пошел дождик, совсем тихий, медленный, но решительный и окутавший плотной завесой все вокруг, — настоящий весенний дождик, который, возможно, продлится всю ночь. Воздух стал чистым и сладостным, а сад — всю благоухал. Вдоль авеню зажглись на верандах огни, все обитатели пансионата вышли из комнат, расселись в своих креслах-качалках и смотрели, как льется дождь. Вдалеке гремела гроза, а над «Баунти» сверкнуло несколько молний.

Эвелин Пибоди сидела, сложив бездействующие руки на коленях. Она отдыхала. Запах мокрой травы и шум дождя увели ее в далекое прошлое и в воспоминания, уже не причинявшие боли. Как всегда, думала она о своем отце. Она любила его. По воскресеньям он водил всю семью гулять. Энергичный и возбужденный, он слишком много болтал. Одержимый Идеей Эмиграции, он не мог даже ничего предпринять.

Нас было слишком много, думала Пибоди, и мы были слишком малы, а мама все время боялась, что нам встретятся змеи или клещи или может начаться ненастье... Папа бегал вокруг нас, устраивая всех поудобней. Однажды в непогоду он нашел нам сарай, чтобы укрыться от ветра. А однажды пытался даже построить хижину из еловых ветвей, но так и не справился с этим...

— Дорогая моя семья! — говорил он. — Теперь мы — на лоне природы! Садитесь в траву, под зеленую сень деревьев! — Обычно он

говорил именно так, когда мы устраивали пикник. — Дорогие детки, я всегда искал настоящий лесной родник, это — самое прекрасное. Что доставило бы мне радость — так это показать вам... Но до сих пор, к моему величайшему горю, такого родника я не нашел. Простите ли вы меня?

Но тут начинал накрапывать дождь. Он собирал нас всех под высоким деревом, а мама говорила:

— Если разразится гроза, большие деревья — самые опасные на свете!

А однажды я попыталась объяснить ей, что именно мы, дети, думаем об опасности, но, кажется, она меня не слышала. По дороге домой папа часто пребывал в меланхолии. Как могло случиться, что они все до одного умерли?

Сестры Пихалга, выйдя на веранду, принялись за чтение. Мисс Фрей вынесла свою шкатулку с бисером и стала нанизывать бисеринки одну за другой — голубую, белую, две розовых...

...Но вот однажды папа раздобыл подвесной лодочный двигатель, совсем маленький, и он почти никогда не работал, вернулась к своим воспоминаниям Эвелин Пибоди. Предполагалось, что мы совершим путешествие по реке на плоскодонке, совсем маленькой, но она так и не тронулась с места.

— Будем грести, — сказал он. — Во всяком случае, гребля — гораздо большее проявление личности.

Мама сочла, что, если есть мотор, грести смешно, и тогда папа вытащил двигатель из лодки, и тот упал на дно реки.

— Сколько денег выброшено зря, — возмутилась мама.

— Да, — ответил папа и, расхохотавшись во весь рот, сказал: — Теперь он лежит на дне реки, а мы можем грести сколько угодно!

Острая боль потери совершенно неожиданно пронзила сердце мисс Пибоди, и она, сжав руки на коленях, склонилась в кресле-качалке.

— Вам нехорошо? — спросила миссис Моррис.

— О нет, со мной ничего дурного... — ответила, отстраняя ее, Пибоди и снова выпрямилась в своем кресле.

«Еще она тут! Носится со своими синими бровями, но никогда не осмеливается показать глаза! Та, что боится музыки!»

Миссис Моррис спросила:

— Не правда ли, дождь приносит уют?

Но «маленькая мышка» снова молча принялась за свое занятие. Тогда миссис Моррис спросила, что за изделие она готовит, но ответа не получила.

«Я опять была слишком молчалива», — подумала Элизабет Моррис, закрыв глаза и прислушиваясь к шуму дождя.

Сидевший рядом с другой стороны Томпсон издал ужасающе непристойный звук.

— Это хороший знак, — заметила Ханна Хиггинс.

Последнюю неделю он, по словам Линды, страдал запором и не желал принимать пилюли.

— Думаю, перемена погоды нам всем на пользу.

Гроза подкатила ближе, и мисс Фрей перешла на тему тайфунов, в особенности того из них, что бесчинствовал в шестьдесят девятом году, что сорвал кроны пальм вдоль половины прибрежной прогулочной тропы. Так пальмы и остались торчать там, словно жалкие огрызки, когда речные волны отступили, а ведь известно, сколько потребуется времени, прежде чем пальмы обретут свой привычный вид!

— Это правда! — качаясь в своем кресле, произнесла миссис Хиггинс. — А бедный отель! Как пострадал...

— Клиентов-то заблаговременно предупредили?

— Да, да, их предупредили!

— А после того, как вода отступила!.. Миссис Хиггинс прекратила качаться и застыла в скорбном ожидании.

— А после того!.. Она ведь проникла еще дальше на побережье! Пенсионеров находили там в безжизненном состоянии, да еще на деревьях...

— Они что, распались на куски? — спросил Томпсон. — Они что, разбились или сохранились целиком? Как могли они застрять на пальмах?

— Они были мертвы, — очень кратко ответила мисс Фрей.

— Дождь, — внезапно разразилась Пибоди, — дождь — это дурной знак, тайфун может нагрянуть к нам в любую минуту!

Она говорила очень быстро.

— Да, да, миссис Моррис, мы ведь ничего не знаем о Флориде, а это, право, опасное место, если не знаешь, чем оно грозит. Мне ведь

пришлось пережить тайфун, и я знаю, о чем идет речь! Однажды я даже бежала с известием о тайфуне в такое место, где не было радио и никто ничего не знал... тридцать человек были таким образом спасены!

— Что такое ты говоришь! — воскликнула мисс Фрей. — Это неправда, ты никогда не рассказывала об этом! Ты не можешь бегать!

— Я ехала на велосипеде! Ты ошибаешься насчет того, что я будто бы рассказала тебе все про свою жизнь. Это было давным-давно, в пятьдесят четвертом году.

— Тогда ты обитала в Теннесси и занималась ажурными строчками и мережкой, — сказала мисс Фрей.

— Девочки, девочки, — останавливала их Ханна Хиггинс, а Томпсон все повторял:

— В каком они были виде? Они развалились на куски? Как они могли застрять на пальмах? А, их прокололо в самой середине туловища! — торжествующе продолжил он. — Я почти представляю себе, какой вид бывает у пенсионера, когда он приколот к пальме, с которой сдуло всю крону. Сплошной сюрреализм!

— Абсолютно феноменально! — изрекла миссис Рубинстайн.

Томпсон, держа руку за ухом, заскулил:

— Что она сказала, что она сказала?

А мисс Фрей вскочила так, что бисеринки рассыпались по всему полу веранды, и воскликнула:

— Феноменально!.. Это вы феноменальны, напоминая нам о смерти! Феноменально то, что, по-вашему, весело, когда люди разваливаются на куски, то, что, по-вашему, трагедия приносит веселье!

Миссис Рубинстайн заметила, что вовсе не это имела в виду, а всего лишь отпустила комплимент в адрес варварского видения искусства Томпсона. Она мысленно взвесила допустимость и мелкой непристойности в связи с обнаженными стволами пальм, со стволами, указующим ввысь, навстречу тучам... но затем раздумала: она промолчит, ведь, пожалуй, именно сейчас не самый подходящий момент для подобного высказывания.

— Там осталась еще белая бисеринка, — сказала миссис Хиггинс. — Они подкатились аж к самому краю веранды.

Пибоди, помогая Фрей собирать бусинки, прошептала:

— Не обращай на него внимания. Зачем тратить нервы на несчастного ветхого старика... Надо сохранять разумное понимание.

— Нервы... — прошипела Фрей. — Разумное понимание... Ты — дружок всех на свете, разве это не так?

Дождь лил по-прежнему, и все они один за другим ушли в дом. Лишь сестры Пихалга остались на веранде и продолжали читать при слабом свете.

* * *

Поздней ночью Томпсон, стоя перед дверью Линды, кричал:

— Линда? Джо у тебя?

— Да, — ответила Линда.

— Тогда я не войду к тебе, — сказал Томпсон. — Я хотел только сообщить, что принял эту пилюлю и все прошло блестяще! Как раз совсем недавно!

— Как приятно, — обрадовалась Линда. — Мистер Томпсон, это радостная новость.

— Да, — согласился он. — Я так и думал, что ты обрадуешься. Привет, Джо!

И он снова отправился в свою комнату.

* * *

Следующий день был необычайно красив. Стоило лишь солнцу взойти на небе, как дождь задержался в зелени среди домов и ни малейший порыв ветра не стряхнул дождевые капли с деревьев.

Когда Фрей отперла свою стеклянную клетку, Пибоди поспешила туда с деньгами на оплату комнаты в руке, восклицая:

— Привет! Ну как! Нынче у тебя настроение получше?

Обнажив в мимолетной легкой улыбочке передние зубы, что всякий раз заставляло Фрей вспомнить какой-либо мультяшного персонажа, Пибоди разложила свои банкноты в окошке.

— Ну и смех, разве не забавно, что я всегда первая плачу за комнату, я никогда об этом не забываю! Никто бы в это не поверил!

И пока Фрей выдвигала свои ящики и выписывала квитанцию, Пибоди начала быстренько, почти не переводя дыхания, описывать, как все было, как произошло и какие чувства она испытывала в тот раз, когда выиграла в лотерею большие деньги, и не могла поверить, неужто это все вправду, и звонила на радио, и все снова и снова — раз за разом — задавала вопросы, и плакала от счастья...

— О, Кэтрин, я не верила, куда не получила подтверждение выигрыша и не держала деньги в руках! Но тогда, разумеется, папа уже давным-давно умер, а все остальные — тоже.

Ее глаза, что всегда были на мокром месте и столь легко поддавались плачу, снова наполнились слезами, и Фрей сказала:

— Прекрасно! Я знаю! Вот твоя квитанция!

— Ты сердишься на меня? — спросила Пибоди, пытаясь заглянуть в окошко стеклянной клетки.

— Нет, нет! Это все — замечательно! Просто фантастично!

— Да, фантастично! — поразмыслив, согласилась с ней Пибоди. — Кэтрин! Что ты хотела сказать вчера, когда мы беседовали? Разве я что-то произнесла и тебе не... Я имею в виду: что такого я сказала? Я часами не спала из-за этого, просто часами!

— Не знаю, — ответила Фрей. — Ничего такого ты не говорила.

— Ты уверена?

— Ну просто ничегошеньки!

— В самом деле? Не будь так уверена. Пибоди, облокотившись о стойку, думала о том,

что называется выбором, игрой случая. Через некоторое время она пришла к выводу, что лучше всего было обуявшее ее чувство торжества справедливости. Да будут первыми — последние! Вот так оно и бывает, разве нет?

Она, обрета вновь свой жалобный детский голосок, когда Фрей не ответила ей, повторила:

— Разве нет? Разве это не так? Да будут первыми — последние?!

— Милая Эвелин, — сказала Фрей, — в жизни бывает и так и этак, но сейчас мне необходимо сделать этот расчет...

Пибоди смолкла, но в конце концов, не удержавшись, сказала:

— Кэтрин! У тебя нездоровый вид. Тебе надо обследоваться. Это абсолютно нормально в твоём возрасте, тебе бы следовало побольше

думать о себе самой. Уже многие заметили, что ты плоха, и я часто беспокоюсь о тебе!

— В самом деле? Беспокоишься обо мне? Просыпаешься по ночам, лежишь и думаешь: «Бедный мой дружок, Кэтрин, если б я только могла помочь ей, защитить ее?!»

Побагровев, Пибоди сказала:

— Брось свою иронию, я и так защищаю тебя чаще, чем ты думаешь! Я всегда лояльна и говорю, что ты — о'кей, а это всего лишь нервы, говорю я, я защищаю тебя от них всех!

Маленькое мышинное личико было приплюснуто к стеклу окошка, и некоторое время спустя детский голосок продолжил свою речь:

— Это — истинная правда, я хочу, чтобы ты, наконец, узнала правду, ты имеешь право знать ее!

— Что они говорили? — прошептала Кэтрин Фрэй, — что они говорили? И кто это сказал?

— А вот об этом я говорить не вправе! Я не могу выдавать их, ты должна это понять. Я только думаю, что ты должна узнать истину.

— Не вправе!.. — воскликнула мисс Фрэй и поднялась. — Истина! А кто, черт возьми, дал тебе право говорить об этом?!

Пибоди, зажав рот руками, кинулась в вестибюль. Приблизившись к колонне, она в испуге, путаясь в направлении, помчалась дальше к лестнице. Слезы снова хлынули у нее из глаз, а прекрасный день померк с самого начала.

На своей кровати, наедине со своими любимыми фотографиями, она попыталась простить и понять... Ей было очень жаль Кэтрин Фрэй. Недоверие — яд, заставляющий сердце человека сжиматься и терять связь с жизнью тех, кто обитает на земле.

В понедельник снова написал Абраша. Он был педантом, и каждое письмо отсылалось в один из первых трех дней месяца, в зависимости от того, какой день принес ему свободное время в делах. Каждое письмо сопровождалось рисунком, сделанным ручонкой самого одаренного из ее внуков или внучек. Миссис Рубинстайн сомневалась в их одаренности, во всяком случае, с точки зрения артистизма. Она не хранила эти рисунки, и даже письма сына. Они все походили одно на другое. Либанонна брала уроки музыки. Дела вышли из кризиса, и Абраша полон надежд на то или другое, погода стояла такая или этакая; они в ожидании визита, конференции, праздника... Или же у них уже состоялся визит, конференция, праздник... С наиприветнейшим приветом от преданного тебе... И неизменно отосланное в один из первых дней месяца письмо...

Но миссис Рубинстайн знала, что ее собственные письма были точь-в-точь такими же, почти до противоположного точь-в-точь такими же. Однажды, когда слабый тайфунчик держал весь Сент-Питерсберг по домам, миссис Рубинстайн охватило страстное желание написать письмо сыну. И она принялась писать... «Любимый Абраша, мой ужасный сынок, мы очень похожи друг на друга, хотя интеллигентность в широком смысле этого слова не распространилась на тебя и не пустила в тебе свои корни. Во всяком случае, ты, после долгой и напряженной, преисполненной наблюдениями совместной жизни со своей матерью, вероятно, узнал, что я ненавижу банальные новости паче умалчивания, а полусердечные безликие комментарии — куда больше жестоких истин... Тебе никогда не приходило в голову, что эти уроки музыки, эти запланированные деловые конференции и эти экскурсии и обеды с влиятельными персонами, как ты даешь понять, для меня, твоей матери Ребекки Рубинстайн, все равно что пыль на ветру? Предоставь мне доказательство того, что мой внук или внучка — гений, а не кудрявое дитя, что истязает гостей своими не представляющими никакого интереса артистическими успехами. Напиши ясно и отчетливо и подкрепи цифрами, какую работу ты провел, расскажи абсолютно

откровенно о том, кого тебе удалось обмануть, и о том, кто обманул тебя, не надо мне никаких намеков, схожих с бесцветными воскресными историями! Влиятельные персоны... могу себе представить! Кто, какие именно? Почему ты с ними встречаешься? Неужели у тебя нет никакой фантазии, а если она у тебя и есть, почему ты ее растрачиваешь попусту? Почему никогда не упоминаешь о жене, выбранной мной для тебя? Есть ли кто-нибудь на свете, кто может так понять, так оценить тебя, как я, твоя мать? Тебе неприятно это слышать, но никто на всем земном шаре не может чувствовать сполна и знать все нюансы жизни, которой ты живешь, твои упущения и твои успехи, как я. Тебе трудно простить? Если я создала тебе чрезмерно реальные возможности в жизни, тебе не простить мне того урожая, который ты пожинаешь с посеянного мной... А вообще-то, тебе хоть повезло? Тебе улыбнулась удача? Я ведь ничего не знаю. Ты называешь имена, имена ничего не значащих родичей. Чем дальше удаляются они от первоисточника, тем более блеклыми становятся. Зачем ты рассказываешь мне, как они утрачивают краски, как становятся все более и более бесцветными. Не напоминай мне о фатальном, об этом вечном недостатке жизнеспособности, молчание — куда лучше! Выбирай новые слова, выказывая заботу о моем здоровье, и сократи количество определений до формата, который доступен тебе... Мой любимый сынок, тоска — редкостный дар, мы не благословлены этой болью.

Абраща, подумай о том, что это я обустроила вашу жизнь, сознавая то, что я — одна-единственная, знавшая, куда ее направить? Почему же мне не дано знать, как вы развиваетесь, как движетесь дальше? А вы, вообще-то, движетесь?..

Шалом! Никогда не пиши только потому, что настал день писать письмо!

Твоя любимая мать Ребекка Рубинстайн».

Внимательно прочитав письмо, расставив кое-где запятые, она одобрительно кивнула самой себе и разорвала письмо на такие мельчайшие клочки, какие только возможно.

Элизабет Моррис не вернулась снова на корабль, однако по вечерам она наблюдала за освещенной оснасткой «Баунти» в окно своей комнаты. Новые впечатления, развлекательные игры забавляли и успокаивали ее. Надо заменить беседы письменным словом. В разгар тишины и молчания надо заменять сообщения записью на листке.

Передача такого высказывания уже сама по себе содержит своего рода уважение, подобное поклону японца, подчеркивающее, что к очертаным кругам других людей ты приближаешься со всем вниманием. Слово человека может быть пугающе назойливым, абсолютно не взвешенным, необдуманым, требующим немедленного ответа. Должна же быть, ведь должна же иметься возможность для раздумья. Время — востребованное для написания, немое сообщение, помогает обосновать то, что ты пишешь.

Почти все, что мы говорим друг другу, отмечено торопливостью и бездумием — привычкой, робостью и потребностью производить впечатление. Сколько ненужной банальности, преувеличения и повторов, какое множество недостойного недопонимания...

Поглядев на корабль, миссис Моррис продолжила игру. Рубрика. Беседа на веранде. План. Напряжение, предусмотрительность и стиль. Точь-в-точь как в шахматной партии, но при этом гораздо больше места для непредсказуемого. Она ничего не имела против сильных эмоций до тех пор, пока они не найдут своего оправдания в словах в конечном счете. А завтра можно без зазрения совести встречаться с другими людьми.

Вообще-то, кто мешает тебе писать, писать совсем простые слова: «Смотри, идет дождь!» Или: «У меня нет желания болтать». Или: «Чепуха все это!»

Единственным достойным партнером в подобной игре миссис Моррис могла представить себе миссис Рубинстайн, эту даму с софистическим изысканным уклоном мышления, занимавшую меж тем место на противоположной стороне веранды и тем самым — недостижимую.

Перемена кресла-качалки — непростительное оскорбление в Сент-Питерсберге. Тот, кто появляется там впервые, не знает, как важны кресла-качалки; ведь место, которое тебе предоставляют, оно — окончательное... Постепенно ты следуешь правилам, обучаешься невысказанным гостиничным законам, и одна только смерть — да и та лишь чисто фактически — может заставить передвинуть кресла-качалки в Сент-Питерсберге.

Миссис Моррис представила себе, что ее место могло бы оказаться рядом с Ханной Хиггинс. Мысль об этом была весьма притягательна, но в таком случае, естественно, новая игра стала бы абсолютно ненужной. Жаль, что в голову не пришла мысль о Томпсоне. Они так никогда и не открыли для себя, какую суровую радость могли бы доставить друг другу.

Ныне, в пасхальные дни, Элизабет Моррис одолевало беспокойство. Неугомонная, она ушла из пансионата и распространила свои прогулки до отдаленных, чужих и незнакомых, частей города. Ноги у нее были сильные, а своею тростью она пользовалась, главным образом, размахивая ею вперед и вверх, словно бы кокетства ради и ритмически в такт своей походке. Трость являлась, скорее, каким-то вызовом, но никогда не была обращена к кому-либо. Миссис Моррис выбирала улицы с шумным движением транспорта, а время суток — когда народ спешит домой с работы. Люди шли ей навстречу, они сторонились, а потом обходили ее, казалось, будто проходишь сквозь струи водопада. Иногда она выбирала только одну улицу. Переходы через дорогу были затруднительны, затормозившие на красный свет машины стояли, готовые рвануться вперед, прежде чем успеешь перейти дорогу... Их она боялась. С глазами, устремленными на светофор, перебиралась она на другую сторону улицы, свет сменялся слишком быстро, зеленый почти тотчас становился желтым. И всякий раз она, обезумевшая и ранимая в душе, успевала вскочить на тротуар со своей тростью, скребущей улицу.словно трусливая курица с беспорядочно торчащими перьями хвоста. Всю дорогу непрерывно бредущие по чужим улицам, ее шаги сопровождалась музыкой живущего своей жизнью города. Ведь людей постоянно сопровождала музыка. Они обрушивали ее звуки как водопад, они несли музыку с собой, один транзистор, что был в чьей-то руке, шел, играя, вниз по улице и

встречался с другим, шагающим почти рядом. Иногда транзисторы как бы играли в унисон, иногда начинался хаос, автомобильное радио выскакивало на улицу, и звуки его растворялись в реве гудков, когда машинам удавалось рвануться навстречу зеленому свету! Из открытых окон, из автоматов с граммофонными пластинками, из громкоговорителей универмагов — отовсюду струились потоки музыки, внося свое слово в буйство звуков улицы.

Головная боль нагрянула неожиданно, чуть позднее обычного. В затылке немилосердно стучало все дольше и дольше, и она, не останавливая боль, пошла дальше сквозь бурю безумной и неуправляемой музыки, бурю, сквозь которую должно было пройти. Иногда она уставала. Здесь не было ни скамеек, ни парков, и она садилась на ступеньки лестниц или на тротуар. Никто не обращал на нее внимания.

Целую неделю миссис Моррис прислушивалась к звукам музыки, она ожидала ее с терпением, которое уравнивалось любопытством. А потом отыскала камнедробилки на еще не застроенных окраинах города вдоль длинного побережья.

Она могла бы нанять такси и выйти возле свалки или на дороге во время работ. В своем светлом одеянии для прогулок, с вуалью на шляпке, она рассматривала камнедробилки и ковши экскаваторов, что тащились, медленно меняя направление, разевая пасть и поднимая камни, песок и извергая их в туче пыли, а также грузовики, что все время то приходили, то уходили...

Работавшие возле набережной привыкли видеть старую, интересовавшуюся их трудом даму. Набережная обрастала огромными, мастерски приделанными блоками — новым фундаментом для новых домов в Сент-Питерсберге...

* * *

Однажды, сидя на берегу и прислушиваясь к звукам камнедробилок, она почувствовала: что-то важное завершилось; она тут же подошла к грузовику. Он вывалил свой груз и готов был снова отправиться в путь. Она начертила на листке своей записной книжки: «Моя фамилия — Моррис, и я устала. Мой адрес „Батлер армс“,

Вторая авеню. Не будете ли вы столь любезны отвезти меня туда?» Шофер, склонившись из своей высокой шоферской кабины, прочитал записку и сказал:

— Конечно, бабуля, только залезай наверх, — а сам с теплотой подумал, что маленькая старушенция нема, да к тому же еще и заблудилась. Они повернули по направлению к центру города, радио в машине непрерывно исполняло популярную музыку. Миссис Моррис знала, что не вернется обратно на эти улицы, да и к камнедробилкам — тоже, она сидела в состоянии величайшего спокойствия, и популярная музыка не мешала ей. Она ощутила готовность к своей личной тишине, которой больше не помешают мучительные звуки.

И вот тут-то случилось нечто, заставившее ее почувствовать себя очень счастливой. Ясное и прозрачное, словно вода родника, выпрыгнуло из шоферского радио — соло на трубе, «Petite fleur»^[20] в почти невыносимой чистоте, медленное и преисполненное жгучей невинности... Миссис Моррис вытасила записную книжку и, охваченная безумной радостью, написала: «Сидней Беккет, труба».

Шофер, прочитав записку, спросил:

— Он живет в «Батлер армс»? Ваш хороший друг?

«Музыка! — написала миссис Моррис. — Послушайте!»

Но реклама перебила музыкальную программу. Они поехали по второй авеню, и он заметил вслух, что дружба — великое дело, он всегда так думал.

Машина остановилась у «Батлер армс», она притронулась к его руке и улыбнулась.

— Все будет ладно, ясное дело, все устаканится. Схватишь часок-другой дремача на веранде, и все опять станет ладно! — утешил ее шофер.

Однажды часа в четыре, как раз перед самым весенним балом, одна из сестер Пихалга опасно заболела, и ее увезли на санитарной машине «скорой помощи» с выключенной сиреной. Вечером из больницы вернулась другая сестра. Поднявшись на веранду, она остановилась на последней ступеньке. В этот прохладный вечер все остальные сидели в ожидании.

Она сказала:

— Вам привет от моей сестры! Моя сестра передала вам привет! Нам необходимо сегодня же вернуть в библиотеку все наши книги! Книги должны быть возвращены. Мы всегда были очень аккуратны с книгами, которые брали в библиотеке.

Фрекен Пихалга оглядела все вокруг так, как обычно смотрят из окна на морской пейзаж, после чего вошла в дом.

Пибоди начала было хныкать и сказала:

— Несчастные одинокие фрекен!

Но никто не обратил на нее внимания.

Одна из сестер Пихалга вернулась на веранду, она несла коробку с книгами и отправилась вверх по улице к библиотеке.

— Они закрываются в половине девятого, — прошептала мисс Фрей.

Тишина города нынче вечером была абсолютно такой же, как тишина заповедника. Бесконечно далеким воспринималось лишь эхо, исходящее от шума на больших автомобильных трассах. Некоторые кресла медленно покачивались, но никто не болтал, никто не произносил ни слова. Через полчаса мисс Фрей вошла в свою стеклянную клетку позвонить в библиотеку, где сестры брали книги, потом снова вышла на веранду и прислонилась спиной к балюстраде веранды. Крепко обхватив обеими руками перила, она поставила всех в известность, что фрёкен Пихалга вернула книги в библиотеку и после этого умерла, точь-в-точь как ее сестра.

— А что они читали? — спросил Томпсон. Его вопрос остался без ответа.

Мисс Фрей объяснила, какая это потеря для них всех. Старые фрекен так долго жили в «Батлер армс»! Она сказала:

— Мы жили так близко друг от друга!

— А мы, разумеется, нет! — произнес Томпсон.

— Теперь же мой долг сообщить мисс Рутермер-Беркли, как можно более щадя ее, о том, что произошло. Вам ведь известно, что она очень стара.

Мисс Фрей вышла в вестибюль. Жизнь потоком обрушилась на нее. Она вся дрожала.

Владелица пансионата спокойно приняла известие о двойном смертельном случае. Она высказала лишь свое мнение по поводу того, что сестры изобрели чрезвычайно редкий способ расстаться с жизнью и что этому событию не чужд свой собственный стиль, благодаря его почти таинственной одновременности.

— Мне кажется, — заявила мисс Рутермер-Беркли, — мне начинает казаться, что можно и в самом деле умереть по такой причине, как горе. Наше затруднительное положение, дорогая мисс Фрей, состоит в том, что подобная возможность ухода из этого мира нам не суждена. Горе, мисс Фрей, — чрезвычайно чистое и сильное чувство, предусматривающее большую любовь. Это совсем не то, что быть несчастными.

Фрей подумала, что старушенция слишком много болтает.

— Ну да, — ответила она, — обе они умерли. Тут уж ничем не поможешь!

— Да, ничем не поможешь! Ничто не может сделаться несделанным или остаться прощенным.

Тогда Фрей спросила, не надо ли рассматривать эти последние слова как упрек, и мисс Рутермер-Беркли ответила:

— Нет, не как упрек, а как напоминание. Никто из нас не любил их, и никто не желал знать что-либо об их жизни. Нам дан толчок к уважению других... Слишком легко отравить свои воспоминания!

Когда мисс Фрей вернулась на веранду, Томпсон тотчас спросил:

— А что они читали? Как обстоят дела с книгами? Успела она сдать их в библиотеку?

Мисс Фрей ответила, что никакие детали их болезни не могут изменить то, что произошло.

— Послушайте-ка, вы, как вас там зовут, — продолжал Томпсон, — я не желаю знать, остановилось ли их сердце, или настал конец мозгу, или что случилось в их несчастных желудках, я хочу знать, какие книги они сдали в библиотеку, так как думаю, что это важно!

Напротив, в «Приюте дружбы», включили электропроигрыватель, как всегда, оперетту тридцатых годов. Фрей спустилась вниз по ступенькам и перешла на другую сторону улицы. Музыка смолкла.

— Что же теперь делать нам? — прошептала Пибоди. — Их кресла-качалки заберут? Можно ли поменять места, или пусть будет более просторно на веранде? И подобает ли идти на весенний бал вскоре после их смерти?

Ханна Хиггинс ответила, что кресел-качалок, что бы ни случилось, всегда предостаточно, и это — большое утешение.

А вообще-то, Эвелин не следует заранее бояться, ибо в Писании сказано, что каждому дню достаточно собственной, выпавшей на его долю муки.

* * *

В тот вечер, когда Джо пришел в комнату Линды и у алтаря, сработанного Джо, зажглась лампада, он тотчас увидел, что Линда выкрасила Мадонну в черный цвет — выкрасила все ее одеяние, да и головной убор тоже.

Линда сказала, что это лак для окраски велосипеда и что дал его ей Юхансон.

— Но зачем? — спросил Джо. — Зачем ей быть черной? Это неразумно, это ни на что не похоже! Неужто из-за смерти стареньких фрекен?

— Нет, — ответила Линда. — Похороны — белые. Похороны — всегда белые.

А она выкрасила в черный цвет Мадонну из-за того, что у нее такое ощущение, абсолютно для самой себя. Раздеваясь, она складывала каждую вещицу на стул, но платье осторожно повесила на спинку кровати.

— Ты всегда в черном, — сказал Джо, и хотя этого ему не хотелось, снова начал думать о матери Линды, о ее маме, что всегда находилась поблизости, о маме, что всегда носила черные платья, — там, в Мексике, все помешались на этом цвете. Материн рот, должно быть, похож на черточку, тесно сжатый рот, такой, каким он становится, когда слишком долго плотаешь слезы и лишь тайком делаешь то, что хочется. Невероятная мученица эта мама Линды!

— А ты не разденешься? — спросила Линда. Черное! Они словно сошли с ума от черного! Она могла бы явиться к нему в одежде красивых тонов, их так много — алый и желтый, розовый и светло-зеленый, и все другие цвета — такие соблазнительные, что заставляют птичек любить друг друга. Но, по мере того как время шло, он привык к черному, и тот стал для него цветом страстного желания. Он страстно желал Линду в черном. Он сказал:

— Это я заставил гореть лампаду.

— Ты не ляжешь? — спросила Линда.

— А для кого горит лампада? Для Мадонны, или для нас, или для твоей мамы?

— Для всех вместе! — ответила Линда. — Погоди немного, и все будет хорошо!

Улыбаясь, она смотрела куда-то мимо него, далеко-далеко, а глаза ее походили на глаза ангелов и гетер.

Баунти-Джо бросился на кровать рядом с ней и почти прошептал:

— Иисус любит тебя!

— Ясное дело, — ответила, серьезно кивая, Линда. — Он любит меня наверняка!

На свете существовала Мадонна в черном одеянии, Линда хорошо знала ее. Божья Матерь в черном исполняла мольбы куда лучше, чем какая-либо другая Мадонна, а дом ее был постоянно полон молящихся. Более всего сочувствовала она тем, кто еще был молод, хотя и знала, что их детские пожелания не всегда приводили к добру.

Поэтому в мудрости своей и в своем предвидении Мадонна прислушивалась к ним и внимала их мольбам, хотя они, возможно, не сразу понимали, как надежно это было. А ныне она взяла на себя попечительство над тем письмом, которому должно было придти к Джо.

Ближе к полуночи мисс Пибоди пришла в шестую комнату и попросила одолжить ей таблетки от бессонницы, ее собственные подошли к концу. Миссис Моррис сказала, что у нее таблеток нет, а если не спится, она обычно читает или сидит у окна.

— Я только и делаю, что думаю о них, — сказала Пибоди. — Позвольте мне быть откровенной. Вы понимаете, это причиняет мне такую боль! Мы никогда не обращали внимания на них, самых малых мира сего! Подумайте, мы ничего вообще о них не знаем, кроме того, что они приехали с Балтики или откуда-то из Европы. А о чем это нам говорит? Да вообще ни о чем! Мы не знаем даже их имен!

— Нет, — ответила миссис Моррис. — А теперь у нас скверно на душе. Это пройдет, мисс Пибоди, это пройдет!

— Не знаю, — прошептала Пибоди, — не знаю, пройдет ли это когда-нибудь!

На ней было ночное одеяние с рюшами, что-то первобытно-блеклое и неопределенное, абсолютно присущее именно ей — типично пибодевское ночное одеяние.

Элизабет Моррис, натянув на себя одеяло, посмотрела на часы.

— Смерть, муки! — прошептала гостья и села на диван. — Никогда не знаешь покоя. Не одно, так другое. Миссис Моррис, я так устала. У всех людей одни только горести, и потом, я всегда думаю, что можно было бы как-то этому помочь.

Миссис Моррис заметила, что предположительно можно было бы что-то сделать, но сейчас легче всего найти утешение в явном желании сестер Пихалга оставаться в покое только друг с другом. Прежде всего бежишь к тому, кто громче кричит, и забываешь тех, кто живет в молчании.

Поглядев на нее, Пибоди сказала:

— Мне нехорошо. Я боюсь! Ведь не знаешь, когда это случится, *это* может грянуть в любой момент!

— Разумеется, — сердито ответила мисс Моррис, — в любой... Можно умереть в любой момент, и это, надо полагать, еще не все в этом мире...

Ее гостья начала всхлипывать.

— Милая мисс Пибоди, прошу вас, перестаньте! Когда я говорю, что это еще не все в этом мире, то я права. Конец грянет совсем просто, а у таких старух, как мы с вами, это, верно, много времени не займет.

— Не займет? — прошептала Пибоди. — А сколько времени? Расскажите подробнее! Не сердитесь на меня...

— Это, — произнесла Элизабет Моррис, — это глупая и несерьезная беседа. Время позднее. Но насколько я понимаю, стоит беспокоиться только из-за одного, и это — стремление не пугать людей, когда умираешь, и не заставлять их страдать угрызениями совести. Если уж мы устраиваем такой спектакль под названием «жизнь», то, по крайней мере, могли бы попытаться обрести чувство собственного достоинства, когда все кончено. Мисс Пибоди, можете спать совершенно спокойно. Будьте добры, выключите свет, когда пойдете! Налево у дверей...

Эвелин Пибоди тотчас поднялась, а когда в комнате было уже темно, спросила:

— А что потом? Потом — ничего не остается?

— Ну... да, разумеется, — ответила мисс Моррис, — масса дел. Вся вечность! Мисс Пибоди, вы будете удивлены!

Джо поливал водой обезьянью клетку. Он видел, что Линда пришла и ждет его возле кассы. Но он продолжал спокойно работать и даже не помахал рукой. Когда клетка была вычищена, он вставил новую кассету в магнитофон, включив его на полную громкость, и закричал в кассу:

— Я убегаю на полчаса, если придут посетители, дайте каждой фру ее гибискус!

Он прошел мимо Линды с магнитофоном в руке, мимо мотоцикла, стоявшего на своем обычном месте. Было очень жарко. Они продолжили путь друг с другом рядом по пирсу, и он все время держал магнитофон на той же самой громкости, позволяя джазу заполнять голову стучащей пустотой.

Выйти далеко на пирс отнимает безнадежно много времени, но, к счастью, они были там через минуту, даже меньше! Иногда в ветреную погоду он выезжал на мотоцикле, поворачивал: поворот — и он объезжает набережные, чтобы перейти на полную скорость... А потом всю дорогу мчаться по прямому пути, напрягаясь всем телом и склоняясь навстречу ветру, тормозя и удерживая колесо машины у самой обочины канавы.

Ноги резко упираются в асфальт. Звук магнитофона, чистый, предельно громкий, похожий на джаз, словно дыхание. Магнитофон, джаз, Иисус. Самое лучшее для того, кто хочет его встретить и все понимает. Они прошли вперед и, свесив ноги, уселись на краю набережной.

Магнитофон выдал нечто абсолютно фантастическое.

— Хочешь хот-дог с горчицей или только с кетчупом? — прокричала Линда. Положив носовой платок на землю, она достала кока-колу и хот-доги.

— Что ты сказала? — закричал в ответ Джо. — Говори так, чтобы слышать, что ты скажешь!

— Горчицу! Хочешь горчицу?

Как это похоже на нее! Обычный человек, который не любит джаз, закричал бы:

— Выключи музыку! Приглуши, от нее можно сойти с ума!

Но только не Линда, нет. Она молчит и страдает, и спрашивает, хочет ли он горчицу, а если взять ее, Линду, с собой на дискотеку, она вежливо слушает, кивает, улыбается, подбадривает и походит на памятник самообладанию. Тысяча миль отсюда. Тысяча миль отсюда, как ее мама! Невероятно!

Повернув голову, он увидел, что Линда хохочет. Лицо ее было открыто навстречу радости, и она не могла успокоиться. Обвив руками его шею, она закричала:

— Горчицы нет! Я забыла ее! Разве это не весело?!

Кассета доиграла до последнего крещендо барабанов, и он заорал изо всех сил, что любит ее, и запись кончилась, так что эти три слова: «Я люблю тебя!» — вылетели в абсолютной тишине и стали могучими, громаднее, чем море! Лежа рядом с ней, он шептал: она получит абсолютно все, что хочет, все... она может выбрать в сувенирной лавке все что угодно, если только покупка не слишком дорогая.

— Я хочу заняться любовью, — сказала Линда. — Именно сейчас я очень хочу любить тебя!

— Но они могут увидеть нас!

— Вовсе нет! Издали мы всего лишь две мелких точки. Никто и не увидит, рядом ли эти точки, или же они друг на друге.

— Ты столько болтаешь! — сказал Джо. Поднявшись, он посмотрел на хот-доги, забытые на носовом платке, он чувствовал себя глупцом. Линда попросила один хот-дог с кетчупом и, пока ела, смотрела ввысь, не отрывая взгляд от неба.

— О'кей, — сказала она. — Тогда расскажу тебе что-нибудь... Рассказать тебе о мистере Томпсоне?

— Нет, только не о Томпсоне.

Он знал абсолютно все о коробке Томпсона под кроватью, о его запоре и о его мягком стуле, о добрых старушенциях Линды в «Батлер армс». Как раз теперь таких, которым сто лет, там уже не водится, а есть всякие другие.

Она сказала:

— Тогда расскажу о музыке. Каждый вечер, когда прохладно и чудесно, в парке, пока не стемнеет, играет музыка. Все мамы приходят в музыкальный павильон и приводят с собой детишек, да и

все, кто любит музыку, тоже там. Звонят церковные колокола, а небо — такое золотистое... На деревьях же полным-полно черных птиц.

— Ты имеешь в виду, что это в Гвадалахаре?

— Да, в Гвадалахаре.

Отдаленное, хорошо известное название Гвадалахара — имя его беспомощной ревности и тайной жизни Линды, безропотно и смиренно перенесенных суровых лет с матерью, хранившей, пока умирали пятеро маленьких сестер и братьев Линды, вечное молчание. Он знал их имена наизусть, пятеро маленьких мертвых сахарных черепушек из Гвадалахары.

— Они играли вечернюю музыку, — говорила Линда. — А музыкальный павильон — очень красив!

Все, сейчас уже ничто не поможет, оставалось только пережить всю эту беду с матерью, которая никогда не могла приехать к ним из-за того, что кто-то был болен или кто-то умер... и с папашей, который вечно спал под аркадами... и, ясное дело, пережить эту беду с Линдой, которая, держа хворого ребенка вместе с матерью, ползла по площади... А потом они вползли на церковные ступеньки и устремились дальше к алтарю...

Он, вздохнув, сказал:

— А еще у вас были белые воздушные шары.

— Нет, — ответила Линда, — они были разноцветные. Церковная крыша — сплошь покрыта яркими воздушными шарами. Хворому ребенку разрешалось самому выбирать цвет шара. Белые — самые главные на похоронах...

— Ну и что же? Зачем нам говорить об этом здесь?

— Но я не говорю о церкви, — защищалась Линда. — Я говорю о музыкальном павильоне.

Пока музыка не играет, дети бегают вокруг, гоняются друг за другом и кричат, а мамы зовут их, а самых маленьких поят молоком. Потом становится все темнее и темнее, и в конце концов зажигают лампы...

Она закрыла глаза, чтобы увидеть музыкальный павильон, его высокую, украшенную птицами, округлую крышу на плечах каменных женщин, деревья в парке с его изобилием свистящих птиц, которых никто не видел. Прежде чем они, черные на чернеющих деревьях, не

находили пристанище на ночь. Верхушки деревьев шевелились и трепетали от крыльев птиц на фоне золотистого неба. Мраморный колодец белел как снег, а вскоре длинными дугами под крышей павильона зажигались фонари и начинала играть музыка...

— Нам пора идти, — напомнил Джо. — Автобус из Тампы может прийти в любое время. А какую музыку играли в этом павильоне?

— Вечернюю...

— А она любит музыку?

— Не знаю, — ответила Линда.

— А она когда-нибудь смеялась, твоя мама? Плакала она? Плакала, когда умирали дети?

— Нет!

— Но что она делала тогда, что говорила?

— Ничего не говорила. А что она должна была сказать?

— Не могу понять, не могу осознать то, что ты вечно болтаешь о стариканах и умирающих, когда происходит столько всего важного именно в тот момент. Думаю, это глупо, я только расстраиваюсь, слыша, какие беды происходили с вами в этом городе.

— Но нам было хорошо, — удивленно произнесла Линда, — мы вовсе не были несчастны.

Они возвращались по пирсу, и всю дорогу Джо искал, что сказать, но не находил ни единого слова.

Когда же они подошли к «Баунти», Линда улыбнулась и, как обычно, ненадолго замешкалась из вежливости, лишь на какой-то миг, глядя, как он возвращается обратно на корабль.

Ребекка Рубинстайн постоянно ездила на такси. У нее было плохо с ногами, однако с деньгами — вполне хорошо. Каждый день она брала такси и ехала обедать в одно и то же место, в пустынный ресторан возле большой автомобильной трассы, далеко к северу от «Батлер армс». Независимо от времени завтраков и обедов других людей, она упрямо вкушала свои трапезы в то время, когда рестораны бывали пусты. Мисс Рубинстайн заметила, что с годами хорошая пища становится для тебя все важнее — горькой и простой радостью. Однако вместе с тем еду — сознательную и приносящую наслаждение — она почитала презренной радостью, строго личным и интимным действием.

Когда-то она читала о кочевниках, предположительно арабах, вкушавших свою пищу лишь в уединенности. Прикрыв лицо платком, уступали они своим отнюдь не эстетичным, животным потребностям в еде. А быть может, они, каждый из них отворачивался от других, тактично прожевывая пищу и пожирая взглядом открывающийся ему собственный горизонт. Подобная картина развлекала ее.

Дети Израиля наверняка трапезовали вместе, в библейской сутолоке, и с большим аппетитом. Миссис Рубинстайн, будучи сионисткой, все же никогда не вступала в дискуссии с кем-либо другим, кроме себя. Поэтому в душе ее жил свой собственный араб, которому она порой милостиво предоставляла очко в игре. В этом случае ему позволялось сохранить контуры своего собственного горизонта. Она рассматривала свое право на обед как наложенную на самое себя пеню. Среди всех действительно уродливых и клинически безликих ресторанов она выбирала наихудшие.

Ела она только один раз в день. Такси ждало ее у дверей ресторана. Пока в учтиво-благоговейной тишине перед ней одна за другой расставлялись тарелки, она, обедая в пустом помещении, была прекрасно осведомлена о таксометре, который, тикая, поглощал цент за центом. Он тикал и заплатавал ее денежки. Это был изысканный штраф, придававший одновременно трапезе известную грустную праздничность.

Когда подавали мясо, она обычно думала об Абраше, как по команде вспоминая это жирное тихое дитя, которому ее любовь приносила слишком много еды. Вспоминала его манеру рассматривать дымящийся бифштекс из-под опущенных ресниц, ненавистно и жадно.

— Ешь, мой любимый мальчик, станешь большим и сильным, еще сильнее мамы!

Подростком он стал тощим, как олень, тощим от упрямства и очень красивым. А потом снова потолстел... жирный робкий бизнесмен!

Ребекка Рубинстайн разрезала биток, но нож соскользнул, мясо съехало на скатерть, проложив широкую дорожку жира и оставив плазок соуса на краю тарелки. С быстротой молнии кинула она кусочек битка обратно и попыталась вытереть скатерть и тарелку салфеткой: официант ничего не видел. Льняная салфетка — большая и неудобная — просто купалась в еде, и с нее стекало что-то мерзкое, клейко-бурое... Дрожа от отвращения, миссис Рубинстайн держала эту испачканную салфетку под столешницей, ее надо было спрятать подальше, может, на окне за гардиной.

Она с трудом поднялась, держа салфетку спрятанной за спиной, но тут из своего угла выскочил внимательный официант, и она крикнула ему, что здесь слишком жарко, невозможно это выдержать, нужно открыть окно.

— Сожалею, — ответил официант, — окно не открыть, но минуточку!..

Внезапно влажный поток воздуха хлынул вниз с потолка, приподняв ленту на шляпке миссис Рубинстайн. Она, попятившись обратно к столу, стала шарить наощупь свободной рукой, ища плащ, лежавший на спинке стула: «Теперь он явится ко мне снова, повесит на меня плащ и подвинет стул под мой зад, какой дурачок — просто невыносимо...»

— Спасибо! — сказала она. — Как любезно с вашей стороны!

Возможно, он ничего не заметил. Салфетка была сунута под плащ, и миссис Рубинстайн придерживала ее локтем.

Когда официант удалился, миссис Рубинстайн спрятала проклятую салфетку в свою сумку и вне себя от ярости прошептала:

— Все испорчено. Гадство!

Десерт ей подали, но она по-прежнему сидела неподвижно. Ее переполняло отвращение. Она ужасно устала, ногам ее уже никогда не дойти даже до машины. И оттого, что она закурила, лучше не стало. Усталость овладела и коленями. Но где-то же должно ей пребывать.

Перед рестораном остановился мотоцикл. То был Баунти-Джо. Он стремительно, как это свойственно юности, промчался к стойке, словно бы скользя лишенными суставов ногами. «Ой, ой — тощий, как олень...» Миссис Рубинстайн неподвижно затихла. Да, тот, что вошел в ресторан, был он — изощренный, невозмутимый, пугающе сознательный юный Абраша. Да и осанка, и посадка головы — те же самые... Юноша заказал гамбургер и кофе.

Ее пронизательный взгляд наблюдал за ним. «Они честны, — думала Ребекка Рубинстайн. За nonchalans^[21] скрывается откровенность и очень глубокая порядочность. Они готовы на все в любой момент, готовы все принять. Они великодушны и боязливы. Мы, старые, тоже боимся, но не показываем это и не выдаем себя. Наше тело ничего больше не выражает, у нас есть только слова, чтобы справляться с жизнью, ничего другого, кроме слов у нас нет. Без слов никакого шарма у нас тоже нет. Олени уже давным-давно пробежали мимо нас...»

Она передвинула свою тарелку, прикрыв самое большое пятно от соуса, и подозвала к себе Баунти-Джо, легко щелкнув пальцами в молчаливой пустоте.

Она сказала:

— Я знаю, что вы — Баунти-Джо. Моя фамилия Рубинстайн. У нас в «Батлер армс» проверяют часы, когда появляется ваш мотоцикл.

— Приятно это слышать, — ответил Джо.

Его гамбургер будто хвастался большими ломтями белого хлеба, влажного от пара. Он выжал из тюбика томатный соус на все это великолепие и стал есть. Казалось, он отметил ее как нечто дружественное, доброжелательное и спокойно посвятил себя еде. «И как он не боится, — подумала миссис Рубинстайн, — ведь я, во всяком случае, пугаю людей, я — невообразима».

Он даже не спросил, как ей живется в Сент-Питерсберге, он не пытался выказать любезность, он только ел. Есть, питаться, собственно говоря, может быть совсем простым занятием, кусать и плотать — также естественно, как то, что море отбирает себе часть

затопленного водой побережья. А почему бы и нет! Всеми свое место и свое время, как раз именно это выражение здесь и уместно! Как красиво сказано! «Ну а что же тогда мы? — с чувством внезапной горечи подумала Ребекка Рубинстайн. — В какую гавань мы причалили, угодили прямо в дерьмо, в незаслуженную беду, где все становится мерзким и уродливым, нам даже не поесть спокойно! Если твой биток перевалился через край тарелки, ты даже не попросишь поменять скатерть на столе — столь мало это значит для тебя! Но нам должно тщательнейшим образом следить за собой, для нас позорно попусту тратить

время на себя, тотчас начинаются проблемы со вставными зубами или забвением обычаев и приличий! Ох-хо-о-ха!» Она сказала:

— Этот десерт я не хочу!

— Ведь это шоколадный торт, — сказал Джо. — А за него заплачено?

— Да, — ответила мисс Рубинстайн и закурила сигарету. — За все заплачено.

Она внимательно следила за тем, как он ест десерт. Она увидела, как он выжимает кетчуп на пять ломтей хлеба и тоже съедает их. Иногда он смотрел на нее с мимолетной улыбкой, склонив голову набок, и тогда он снова походил на Абрашу. «Собаки, они просто пытаются угодить тебе и знают, чего от них ждут! Я же ничего больше не хочу, кроме как выбраться отсюда и вытащить эту отвратительную тряпку из моей сумки...»

Таксометр за дверью тикал абсолютно отчетливо, его тиканье проникало прямо сквозь запертое окно, словно тиканье часов, упрямо и требовательно.

— Было вкусно! — сказал Джо. — Огромнейшее спасибо!

— Там мое такси, — вызывающе сказала мисс Рубинстайн. — Я заставила его ждать целый час. Может, и два часа. Безответственно отнимать столько времени у человека и без нужды тратить столько денег. Не правда ли?

— Не думаю, — ответил Джо. — Деньги значат так мало, да и время — тоже.

Он видел, что старая женщина сердится и чего-то боится, и успокаивающе добавил:

— Это неважно.

— Почему? — спросила миссис Рубинстайн, а когда он не ответил на ее вопрос, перегнулась через столик и повторила: — Почему? Почему это неважно?

— Теперь уже неважно, — сказал Джо и улыбнулся ей.

Ребекка Рубинстайн снова опустилась на свой стул. Ну конечно же, естественно, ничего теперь больше неважно. Именно так успокаивают тех, с кем не считаются: «Теперь — уже неважно».

— Почему вы сердитесь на меня? — спросил он. — Я сморозил какую-то плупость?

— Не будьте наивны. Я полностью сознаю, что для меня в настоящее время ничто не может иметь большого значения. Вопрос этот меня не интересует, и я должна идти. Время позднее.

Джо поднялся и, уставившись в ее большое неподвижное лицо, воскликнул:

— Но я вовсе так не думал. Я думал, что, коли никому не придется больше ждать и никому не надобны никакие деньги, все будет хорошо!

— Вот что! — удивилась миссис Рубинстайн. — Странное утверждение. Можете объяснить подробнее?

Баунти-Джо довольно долго молчал. Его лицо медленно покраснело, и он угрюмо повторил:

— Все будет хорошо!

— Бабушка надвое сказала... — нетерпеливо пробормотала миссис Рубинстайн. — Где мой плащ? Не понимаю, куда они подевали мой плащ? Этот ресторан просто невыносим... какая-то забегаловка, остановка по требованию, вонючий нужник!

Юноша застыдился ее слов и хотел сказать что-то ласковое, но именно сейчас ей было не до него, она в самом деле устала. Так что, покончив со всеми интеллектуальными вопросами, Ребекка Рубинстайн водрузила свое тело в ожидавшее ее такси. Прежде чем захлопнуть дверцу машины, она сказала:

— Ты был очень добр, но теперь мне необходимо спокойно уехать. Страшись за себя, Абраша, и не давай им одурачить себя.

Такси свернуло к городу.

Баунти-Джо подошел к своему мотоциклу и остановился возле него.

— Помчусь со скоростью сто восемьдесят в час и въеду прямо в ад! Теперь я снова отрекся от Него!

Как раз тогда, в период между смертью сестер Пихалга и весенним балом, мисс Пибоди случайно узнала, что в Сент-Питерсберг прибывает Тим Теллертон. Это было у парикмахерши: старая миссис Бовари со всей определенностью знала, что эта великая звезда эстрадных ревю забронировала комнату в пансионате «Приют дружбы».

Мисс Пибоди взволновалась невероятно. До чего удивительна жизнь! Ведь он мог поехать куда угодно, совершенно точно — куда угодно в огромной колоссальной Америке, а он явится на Вторую авеню в Сент-Питерсберге!

Она помнила его так, будто видела вчера, его темно-синие знаменитые глаза и улыбку, что не когда была любима всем континентом.

— Кэтрин! — воскликнула она, стоя пред стеклянной клеткой мисс Фрей. — Сюда приезжает Тим Теллертон, он будет жить в «Приюте дружбы»! Как, по-твоему, он выступит в городском парке?

— Едва ли, — заметила миссис Рубинстайн, стоявшая в ожидании своей квитанции за оплату комнаты. — Полагаю, что и божественного Теллертона тоже хотя бы чуточку не пощадило время.

Не стану оспаривать столь широко распространенное мнение о его вечной молодости лишь из-за того, что он посетит Сент-Питерсберг, полагаю, что судьба его не столь уж несхожа с нашей.

Пибоди непонимающе смотрела на нее, а затем обратила взгляд своих боязливых глаз на мисс Фрей. Фрей рассерженно пояснила слова миссис Рубинстайн:

— Он тоже стар и поэтому приезжает сюда. Все обитатели пансионата никогда не могли привыкнуть к тому, что, если Фрей сидела в стеклянной клетке, вопросы можно было задавать только о работе и ни в коем случае ни о чем другом, не связанном с ее обязанностями. В стеклянном ящике она была защищена, и ее оставляли в покое. «Ослицы, — думала миссис Рубинстайн, — низкосортные простодушные ослицы, все до единой вместе взятые. Да

и я тоже». Бросив окурок сигареты, она зашагала дальше по вестибюлю.

— Но он красив! — неуверенно сказала Эвелин Пибоди. — Он великий артист!

В пансионате «Приют дружбы» она узнала, что его ожидают трехчасовым автобусом. Никто не знал, встретят ли его у автобуса, преподнесет ли ему кто-нибудь цветы.

После двух часов жара усилилась и веранда в «Батлер армс» просто купалась в солнечных лучах, целиком открытая им.

Пибоди сидела на одном конце веранды, а Фрей — на другом.

— Иди сюда и садись в кресло-качалку одной из сестер Пихалга! — воскликнула Фрей. — Отсюда ты все лучше увидишь!

Но Пибоди не пожелала сидеть в кресле Пихалги, она медленно ходила взад-вперед по веранде и смотрела, как Фрей нанизывала свои бесконечные бисеринки.

Она спросила:

— Почему вы не унесете их кресла-качалки? Или можно поменять места? Если ждать еще дольше, станет только тяжелее, ведь нельзя же все время ранить друг друга.

— Ас кем ты хочешь сидеть рядом? — спросила Фрей. — Это, должно быть, трудно определить, ты ведь любишь всех на свете.

Пибоди не ответила, ее мысли путались от внезапно навалившихся на нее вопросов, а как раз сейчас она не могла вспомнить все имена и где кто располагается на веранде. Она устала от жары.

В десять минут четвертого такси, завернув за угол, остановилось прямо против пансионата «Приют дружбы». Работа Фрей уже отдыхала, лежа на ее коленях. Они увидели, как шофер такси вытащил из багажника два чемодана и сумку. Потом из машины вышел Тим Теллертон, рассматривая дом, где предстоит ему жить, и, целиком занятый в этот момент своими размышлениями, направился к веранде, навстречу ожидавшим его местам.

Пибоди не удалось увидеть его лицо. «Прими его, — робко подумала она, — встреть его и скажи „Добро пожаловать!“ Сделай же что-нибудь!»

Наконец все поднялись на ноги, и на недолгое время на веранде началось какое-то неопределенное движение. Шофер внес багаж в

дом, и после этого все снова стало как прежде. Машина уехала, а они снова сидели в послеобеденной тени, так и не сомкнув свои ряды на веранде.

— Еще одна упала! — сказала мисс Фрей.

Она собирала свои упавшие бисеринки и продолжала их нанизывать.

Пибоди осторожно уселась в кресло миссис Хиггинс. Узнал ли он про весенний бал? А что, если они забыли столь важное приглашение? Но, разумеется, Тим Теллертон может явиться туда когда угодно, это ведь было бы честью для «Клуба пожилых»...

Мисс Фрей все быстрее и быстрее раскачивалась в своем кресле. Она молчала, у нее снова заболел живот. Надо бы пойти на обследование, но, может, и так пройдет... Озаренный солнечным светом профиль ее, с тощими складками шеи и непрерывно моргавшими глазами, напоминал профиль ящерицы.

Пибоди почувствовала, что тишина на веранде — какая-то все отвергающая, и стала смотреть в сторону, устремив взгляд поверх широкой, солнцем поджариваемой улицы.

Некоторое время спустя она сентиментально заметила, что все мы — словно разъединенные миры или же корабли, что разошлись в море.

— Что? Что? — спросила мисс Фрей.

— Мы — корабли! Речные суда, что не могут встретиться. Каждое судно, как и веранда, совершенно одиноко и существует само по себе.

— А что мешает тебе... — раздраженно ответила Фрей. — Переплыви реку... на веслах... Гребь туда и спроси, будет ли он сопровождать тебя на бал или нет.

Эвелин Пибоди вздрогнула, словно от пощечины, и уставилась глазами в пол. Такое непростительное высказывание для еще совсем юной мисс Пибоди оказалось бы невыносимым. Она была бы жестоко ранена тем, что застенчивость ее ставилась под сомнение. Для старой же Пибоди это было двойным оскорблением: слова Фрей — намек на то, что застенчивость ее больше никому не нужна.

Ужасные железные судороги разрывали живот Фрей, и она разразилась криком:

— Сущая оперетта! Телевидение! Предобеденный час домашней хозяйки — все это было уже давным-давно! Он стал, верно, чрезмерно старым и толстым. А жениться он так никогда и не женился.

— Он жил ради своего искусства! — напыщенно ответила Пибоди.

— Искусство и еще раз искусство! — воскликнула Фрей и, наклонившись, словно для доверительной беседы, прижала руки к животу и медленно сообщила, что в пансионате всё устраивают, как и подобает, но, вероятно, он присутствовал всюду, где надо присутствовать, да и в обществе влиятельных персон тоже! Он, верно, знал, что делает! Я говорю, персон! Но это были дамы, всегда дамы, тебе понятно?!

— Нет! — воскликнула Эвелин Пибоди.

— Он был умен, он не давал повода для сплетен. Домашние хозяйки — публика важная.

Согнувшись вдвое над своим ужасным животом, мисс Фрей прошептала:

— Но болтали все же... Тем не менее болтали. И хочешь знать, что именно говорили?

— Нет! — разразилась криком Пибоди, — не хочу... не хочу знать!

Она вскочила и, пятясь, шаг за шагом, направилась к вестибюлю, спотыкаясь о кресла-качалки и не спуская глаз с губ мисс Фрей. А губы эти, в окружении мелких морщинок, все говорили и говорили... Страшный рот, выговаривавший мерзкие слова... и в конце концов Пибоди закричала:

— Замолчи! Ты — злючка, да к тому же еще и глупая!

И застыла в молчании от испуга пред самой собой.

— Так, теперь ты знаешь все, — медленно выговорила Фрей. — А я наконец знаю, что ты обо мне думаешь.

На веранду вышла миссис Рубинстайн.

— Поздравляю! — сказала она и посмотрела на Пибоди. — Наконец-то вы высказали свое мнение и посмели нажать себе врага!

Застывшие губы Пибоди произнесли:

— Это правда! Это ужасно, но это правда! А вы сами, миссис Рубинстайн! Я восхищаюсь вами, но вы жестокосердная и опасная женщина!

— Вы так думаете? — спокойно спросила Ребекка Рубинстайн. — Я не особенно приятна. Да и Фрей тоже. Так что поберегите свои восторги, дорогая фрекен, а собственно говоря, чего вы ожидали?

Слегка похлопав Пибоди по плечу, она отправилась обратно в вестибюль, за ней последовала и мисс Фрей с бисеринками, дребезжащими, будто камни в желчном пузыре. А Эвелин Пибоди осталась одна со своей первой открыто высказанной враждой. Она не извинилась, не сказала: «Простите меня, во всем виновата жара...» или... «Не обращайтесь на меня внимания, я вовсе так дурно о вас не думала» или хотя бы: «Я огорчена!» Она не произнесла ни слова. И совесть ее молчала. В состоянии совершенно неожиданного поразительного облегчения ее постоянно вопиющая совесть, освобожденная на миг от мук, молчала.

Пибоди, в абсолютно новом для нее ощущении окружающей ее пустоты, подошла к перилам веранды и стала разглядывать одно за другим окна пансионата «Приют дружбы». Без ложной скромности или ложных ожиданий раздумывала она, предоставили ли ему уютную комнату, одиноко ли ему там или нет...

* * *

Он очень устал. Ошибочно было приехать в середине дня, лучше бы предпочесть ночной автобус. И тогда следовать вместе с ним сквозь ночь, часами спать, останавливаясь у всех безымянных, безликих, абсолютно одинаковых автобусных станций с одинаково анонимными залами ожидания для еды и отдыха пассажиров, что входят и выходят, далекие, призрачные, словно тени. А когда прибываешь на конечную автобусную станцию — такси, ключ от номера и постель. Он совершил ошибку. Глупая профессиональная любезность, привычка дать принимающей стороне шанс устроить торжественный прием, что доставляет обычно огромное удовольствие в мелких городах.

Прибытие в Сент-Питерсберг напугало его, он боялся всех этих старых людей, которые выбирают из своих кресел-качалок, чтобы поглазеть, и только путаются под ногами. Людей с их суматошными

претензиями, жертв реклам дешевых ресторанов, безустанно капающих кранов и весеннего бала... И тут же все старики уже снова сидели в своих креслах-качалках, глядя перед собой, а он в полном одиночестве вошел в дом.

Тим Теллертон любил скопления людей, группы, стайки и людские толпы, копошившиеся вокруг него и ведомые ожиданием, восхищением и энтузиазмом; он вполне понимал их растерянность и их неспособность формулировать свои мысли и предвидеть поступки.

Этих старых, ветхих людей он понять не мог. Они взлетали, словно рой птиц, и, чуть помахав слабыми крыльями, снова усаживались на ветке — ничего общего с ним у них не было. Он был для них нечто происходившее рядом, какое-то событие, но Тимом Теллертоном он не был.

Теллертон привык к восхищению, правда, со временем оно, возможно, не так часто выпадало ему на долю, но он сознавал его всегда как ответственность, как часть своей профессии. Он понимал, что тоска по обожанию и преклонению неслыханно сильна, и даже в своем величайшем, по большей части беспомощном унижении, эта его тоска носила характер неудовлетворенных претензий; восхищение приносит само собой разумеющееся, почти жестокое право обладания. Улыбка Тима Теллертона, его колоссально-любезная внимательность были прекрасным портретом, подаренным им самому себе, тем щитом, который он держал перед собой. Но в душе его таилась скрытая на расстоянии в длину руки, крайне редко отмечаемая дистанция. Потом уже обычно вспоминали его приятную, теплую манеру разговора, но вовсе не то, что он говорил. Многим он оставлял надежду на новую встречу, но вовсе не свой адрес. Таким образом, Теллертон мог сохранить искреннюю нежность, откровенную благодарность и некий защитный магический круг, принадлежащий ему одному.

Комната в пансионате была светла и преисполнена приятной безликости. Тим Теллертон принял ванну и начал спокойно и не спеша работать со своим лицом. Есть на свете старые лица, лишённые духовной красоты, той красоты, над которой можно работать осознанно, но встречается также чисто скульптурный тип красоты.

Телосложение и лицо Теллертона были изысканно прекрасны. Теперь же, пока он медленно массировал свои чудесной формы щеки

и лоб, к нему вернулось спокойствие, и он все время смотрел в свои сияющие синие глаза. Естественно, он потолстел. Надо выбирать: сохранять ли стройность либо потерять лицо — уберечь ли лицо или чрезмерно поправиться. Тело человека, насколько ему известно, меняется исключительно в ту или в другую сторону.

Окружающее его пространство казалось слишком ухоженным: гладкое кружевное покрывало и ровные складки гардин, безделушки на одном и том же, точно вымеренном расстоянии друг от друга, любезная его сердцу пустота. Ведь большинство комнат подобны дождевым плащам — они предоставляют защиту, но ничего более того...

Он лег в кровать и тотчас сумел заснуть, заснуть так, как научила его собственная профессия, — быстро и абсолютно исчезнуть, когда вдруг время, усталость и страх сойдутся вместе. Во сне он становился еще красивее.

Цветы поставили в комнату вечером. То были нежные и розовые розы, согласно визитной карточке, от некоей мисс Пибоди: «Добро пожаловать в Сент-Петербург, с восхищением».

Но в пансионате «Приют дружбы» никакой Пибоди не было и никто никогда о ней не слышал.

Утром в день великого весеннего бала Эвелин Пибоди проснулась поздно. Сны ее были легки и добры, а на совести — ни единого, даже мелкого проступка. Окутанная своим собственным теплом, она напряженно думала о мисс Фрей. С совершенно новой, почти игривой жесткостью представляла она себе лицо Кэтрин Фрей при дневном свете, и впервые увидела его без малейшего сострадания. Это лицо, теперь уже абсолютно разоблаченное, выдающее сущность Фрей, совсем не было изборождено и переkreщено теми морщинами и складками, что отражают выразительный почерк времени. Текст на лице Фрей шел вдоль и поперек, противоречиво и беспомощно, всего-навсего лишь черновик, который позднее следовало еще растолковать, но ни в коем случае более не улучшать да и не переписывать.

Пока Пибоди думала о лице Фрей, она подстрекала свою впервые честно и откровенно высказанную вражду, но поступила она, будто была глубоко уверена в своей правоте. Собственно говоря, она никогда не думала дурно о Фрей, никогда не думала дурно ни об одном человеке. В общем-то, людей легко призвать к порядку. А если

поразмислить, то каждый из них по-своему прав. «Возможно, — думала на пороге сна Эвелин Пибоди, — вполне возможно, что я тоже не так уж много думала о них, но кто из них когда-либо замечал, как я тяжело надрываюсь, стремлюсь к справедливости и правде, кто измерит цену моего сочувствия?» Она не могла вспомнить, что сказала Фрей и почему она, Пибоди, внезапно вышла из себя... Прекрасно было бы еще немного поспать.

В двенадцать часов за дверью Фрей крикнула:

— Ты что, заболела?

— Я сплю, — ответила Пибоди.

Фрей отправилась дальше. В ее обязанности входило пересчитывать их и знать, где они находятся. Ощущение в животе было снова как обычно, может, никакое обследование не понадобится! Ведь никогда не знаешь, что найдут эти врачи, и вообще, времени у нее нет.

Право же, взять, к примеру, Пибоди... Маленькая фрекен... Спящая красавица с нежным сердцем...

Когда она спускалась с лестницы, на углу из дверей своей комнаты выскочил Томпсон и заорал ей прямо в ухо:

— Ха, старая ты попрыгунья! Фрей воскликнула:

— Постыдился бы!

И помчалась в свою стеклянную клетку, а захлопнув за собой дверь, молча постояла, мотая высоко поднятым подбородком, чтобы тушь не потекла с ресниц...

— Какое ребячество, — прошептала она, — какое ребячество, какое ужасное ребячество, какое ужасное!..

Она, ничуть не сопротивляясь, дозволила опасть всем контурам своего лица: все усталости, все разочарования, отразившиеся на ее лице, опустились и углубились именно в тот момент, опадая вниз из уголков глаз, ноздрей и губ. Бумажные носовые платки подошли к концу. Вообще-то, им бы не мешало купить в дом жидкое мыло и новые брошюры. Фрей присела к своему столу, чтобы пометить: купить брошюры, жидкое мыло... Но перо ее рисовало лишь мелкие-премелкие неопределенные линии, и вскоре она различила, что линии эти изображают волосы Томпсона и неожиданно обрисовывают брови на неровном треугольнике его лица. У него появились глаза, близко посаженные друг к другу, и черный разинутый рот. В конце концов она

приставила ему большие рога, по одному с каждой стороны. Затем, скомкав бумагу в мячик, Фрей выскочила в вестибюль с криком:

— Линда! Проветри его комнату, оттуда по всему дому несет чесноком и запахом табака. Почему его комната похожа на конюшню?!

— Да, мисс Фрей, — ответила Линда, посмотрев на нее взглядом, которым одаривают чужое животное, которое как следует не обихаживают...

Фрей сбегала вниз по лестнице к пятому номеру и закричала:

— Миссис Хиггинс, вы там, вы у себя в комнате? Какая лампочка разбилась вдребезги — в ночнике или в люстре на потолке? Я не могу попросить Юхансона, пока не узнаю, какая из них разбилась вдребезги!

— В ночнике, — удивленно ответила Ханна Хиггинс. — Но думаю, что обе лампочки одинаковой величины.

Немного подождав, Хиггинс добавила:

— Ну вот, тебе опять худо?! Томпсон опять был зол и груб?

— Он дьявол! — ответила Фрей.

— Пожалуй, слишком сильно сказано о впадшем в детство ребячливом старике.

— Ребячливом! — воскликнула Кэтрин Фрей.

Ее всю трясло.

— Он столь же ребячлив, сколь Пибоди ангелоподобна!

Да, так было всегда: дьявол мог казаться ребенком, со всем унаследованным им злом, а ангелы прячутся за всеми добродетелями мира...

Она повторила:

— Он дьявол!

— Разве, разве... — возразила миссис Хиггинс. — Хотя, может быть...

Очень осторожно вывинтила она разбитую лампочку из ночника.

— В дьявола, — сказала она, — мне всегда было трудно поверить. Ангелов представить себе куда легче... Но не могу понять, почему проповеди пастора Грим лея столь благословенно скучны. Ведь он высокообразованный человек, не правда ли?

— Правда, — слабым голосом отозвалась мисс Фрей и села на стул.

Ханна Хиггинс продолжала болтать о Гримлее и весеннем бале и показала свою сумочку, украшенную гагатовыми^[22] бусинками. Сумочкой этой Хиггинс пользовалась для выхода в торжественных случаях.

— Моряк, — сказала она, — у него свой стиль. Мисс Фрей вертела в руках сверкающую сумочку, и глаза ее внезапно замигали...

Она слышала, как миссис Хиггинс хлопотала в ванной и вернулась оттуда, снова болтая о весеннем бале. Кэтрин, мол, не следует надевать длинные брюки, а наоборот, одеться красиво и женственно, а парик — убрать.

— Сними парик, дружок, и посмотрим, какие у тебя свои волосы.

Кэтрин Фрей сняла парик. Миссис Хиггинс долго смотрела на нее сквозь очки с утолщенными стеклами, смотрела и поверх головы, и снизу, и сбоку, а в конце концов сказала, что тут требуется помощь парикмахерши, и помощь немедленная.

* * *

Улицы Сент-Питерсберга, опаленные послеобеденной жарой, были пусты. Сотни старых и пожилых дам сушили волосы под фенами, а те, что уже сделали прическу, ожидали у себя дома, когда наступит вечер.

Кэтрин Фрей поспешно шагала по городу — улица вверх, улица вниз, и повсюду дам — битком набито! Она испугалась и пошла на авось в парикмахерские салоны, где уже бывала, но куда бы она ни приходила, везде и всюду сушилки для волос были немилосердно заняты и всюду сидели длинные ряды терпеливо ожидающих своей очереди женщин, которых назначили на определенное время.

Сколько старческих волос, которые мыли и укладывали локонами, обрызгивали лаком, сколько белого и седого птичьего пуха зачесывалось наверх над холодеющими висками!!!

Мало-помалу, носясь от одной парикмахерши к другой и постоянно получая отказы, мисс Фрей забыла о своих собственных огорчениях, дабы целиком предаться той преисполненной тайны одержимости, той магии, что женственность доверяет уходу за

собственными волосами, и ее охватило фантастическое спокойствие. Наконец-то она нашла мирное прибежище, далекое от «Батлер армс».

Быстрым и серьезным шепотом посоветовавшись с парикмахершей, опустилась она под пластиковый футляр, глубоко, во влажное тепло, насыщенное тепло оранжереи, в тот мир, что сулит забвение на многие часы покоя.

Все в переполненной клиентками парикмахерской было розовым, даже телефон. То было надежное женское пристанище, где мисс Фрей задремала, освеженная серебряным спреем номер пять.

Последние в очереди дамы спешили из парикмахерской домой с прическами, укрытыми легкими шелковыми платочками. В городе стояла полная тишина. Уже в сумерках Линда поставила на стол в гостиной холодный ужин: курица и картофельный салат из кафе «Сад».

Все было иным — временным и поспешным, как обычно бывает за полчаса до путешествия. Юхансон подает машину, которую сам же он и поведет.

* * *

Ханна Хиггинс и Пибоди ужинали, сидя друг против друга с театральными сумочками, что покоились рядом с ними на столиках.

Миссис Хиггинс видела, что Пибоди явно взволнована, смотрит по очереди то на дверь, то на экран телевизора, и все время ерзает, да и курица — не на пользу, если ты поел перед празднеством, блюдо это не очень практично и может нанести большой урон платью.

Но вот появилась, шурша тафтой, Кэтрин Фрей, и миссис Хиггинс, отложив в сторону вилку, сказала:

— Посмотрим, дружок, на собственные твои волосы, подойди поближе, повернись кругом... Такая серебристая седина... очень красиво!..

Пибоди слегка хохотнула, издав коротенький, не очень-то любезный смешок, а Фрей, словно ужаленная змеей, кинулась к телевизору и стала смотреть, повернувшись к ним спиной, на экран. Там лесоруб из Канады отвечал со злобным видом лишь «да» и «нет» на все задаваемые ему вопросы.

— Словно на пикнике, — заметила Пибоди. — Так приятно есть из картонки!..

— Тесс! — прошипела Фрей. — Идет программа! Но Пибоди тотчас продолжила громким голосом свою речь и напомнила, что бал все-таки — событие. И спросила, видел ли кто-нибудь новую шляпку миссис Рубинстайн? Да, да, ведь ее шляпка — большой сюрприз!

— Почему ты так неестественно болтаешь? — спросила Ханна Хиггинс. — Вы поссорились?

— Тесс! — снова прошептала Фрей.

Она подошла совсем близко к экрану, чтобы показать, как все ей мешает, и сказала:

— Деревья такие высокие и необъятные! Сквозь них можно проехать на машине! Посмотрите на них! Посмотрите!

Но когда они взглянули на экран, там по-прежнему виднелось лишь злобное лицо лесоруба, до тех пор, пока оно не стерлось, смешавшись с рекламой.

— Да, — произнесла Ханна Хиггинс, — конечно же, было бы занятно увидеть такое колоссальное дерево и даже проехать сквозь него...

— Глупо!.. — воскликнула Пибоди, поспешно откинувшись на спинку дивана.

— Ешь свою курицу, — строго посоветовала ей миссис Хиггинс. — Мир куда огромнее, чем ты думаешь!

В гостиной было уже сумеречно, вечерняя прохлада вливалась через открытое окно. Они услышали, как внизу под верандой проехал автобус. Мисс Фрей быстро прошла мимо них в вестибюль, а Пибоди прошептала:

— Бедняжка!

— Прибереги свои слова! — посоветовала Ханна Хиггинс. — Опрометчивые слова все равно что сухие листья на ветру. Жалеть — значит понимать, а если понимаешь, то должно полюбить.

— Нет, нет, — робко прошептала Эвелин Пибоди, — все изменилось, теперь мы — враги!

Миссис Хиггинс, слегка вздрогнув, заметила, что будь ты одним, или будь ты другим, надо только знать, чего хочешь.

Взяв свою сумочку, она вышла из гостиной. Внизу на улице празднично одетые люди группками или пара за парой начали

двигаться к гавани.

Платья дам казались длиннее и светлее, нежели в сумерки. Они отчетливо вырисовывались на фоне зелени, окружавшей дома. Многие машины спускались вниз по Второй авеню к морю и к «Клубу пожилых».

Рассеянно, но при этом тщательно, оделась к празднеству и Элизабет Моррис. Она сидела у открытого окна своей комнаты, смотрела на людей и на автомобили, на потоки людских ожиданий, струившихся мимо к освещенному кораблю, и почувствовала непреодолимое желание просто-напросто остаться дома наедине с самой собой.

Это новое настойчивое желание придавало миссис Моррис ощущение праздничности и личной свободы; выпрямившись на стуле, она медленно натянула на одну руку длинную голубую перчатку.

Пибоди поскреблась к ней в дверь и спросила, готова ли она и записалась ли уже в «Клуб пожилых».

— Да, — ответила Моррис. — Не беспокойся, все идет как положено...

И мисс Пибоди устремилась вниз по лестнице и выскочила на улицу. Та была пуста. Юхансон уже уехал. Она пробежала немного вперед и снова вернулась. Сгорбившись под своей серой шалью, она более чем когда-либо походила на мышку, постоянно бегущую, постоянно спешно выскакивающую из все новых и новых норок и то тут то там вынюхивающую что-то на своем пути.

Мимо нее прохромал вверх по улице к кафе Палмера Томпсон в диковинной шляпе и в черном костюме.

Миссис Моррис услышала, как он пробормотал:

— Пибоди, поторопитесь! Мы успеем выпить по стаканчику пива, прежде чем все начнется. А Крестный Отец Юхансон пусть катится куда хочет со своей священной телегой.

* * *

Бар изменился... Ярко освещенный, он был переполнен людьми, пытавшимися перекричать музыку. Она, испугавшись, остановилась в дверях.

— Пибоди! — закричал Томпсон. — Входи и садись!

Вонзив свой локоть в соседа слева, он стащил его со стула; это произошло очень быстро, а пробиться к Томпсону сквозь все эти длинные платья было трудно. Она робко попыталась извиниться:

— Простите, это был ваш стул...

Но огромный человек не слышал, что она говорила, он висел над стойкой и орал:

— Ха! Пинту пунша для бабули!

Большой бокал проехал прямо к ней по оцинкованной стойке, а огромный человек, вполне уважительно подмигнув, спросил:

— Как поживает малышка Алоха? Написали ли друзья Иисуса?

— Поцелуй меня... — выругался бармен.

Томпсон сидел молча, словно в церкви, под ярким светом он производил впечатление удивительно маленького и сильно запыленного человечка.

Пибоди объясняла, что она лично Баунти-Джо не знает, но никто ее не слушал. Из вежливости выпила она сначала большой бокал вина, а потом пиво и, облокотившись о стойку, почувствовала, как прекрасно это для ее спины. Здесь были только одни друзья, они болтали, перебивая друг друга и, нагнетая свое собственное чувство гнева, не сходились во мнениях. Вдоль всей этой длинной стойки она видела, как руки их что-то выясняют и оценивают, и снуют, видела их затылки и профили, видела мужчин, наклонявшихся над оцинкованной стойкой и снова, смеясь и вытянув шеи, откидывающихся назад... А иногда кто-то из них подходил к магнитофону и включал музыку.

У Палмера, и она знала... Бар Палмера — это место, где снова приходит покой. Она засунула пятерку под локоть Томпсона, и он заказал еще два стаканчика пива.

Помещение было абсолютно надежным, внушающим доверие. «Почему, — думала Пибоди, — почему они не могут заставить и меня быть тоже доброй, ведь я все-таки необычайно добрый человек?»

Углубившись в созерцание зеркала бара, Эвелин Пибоди лелеяла сочувствие к этим людям, наблюдая за своей откровенно-истинной дружелюбностью, порой выбрасывающей удлиненные шипы ненависти, столь же колкие, как шипы розы.

— Неужто это возможно? — с болью думала Пибоди, — что со мной? Ни у кого из них нет такой скверной совести, как у меня, никто не обращает внимания на столь многое, как я. Своей совестью я, пожалуй, сравняюсь с землей, да, я равняюсь с землей. И самого крошечного, самого маленького врага я не оставляю в покое...

— Ха! — воскликнул Томпсон. — Ты что, спишь, Пибоди?

Совершенно внезапно бар опустел, посетители один за другим расплачивались и уходили.

— Почему они расходятся? — робко спросила Пибоди.

— Они идут домой ужинать.

— А они не вернуться?

— Они вернуться, — утешил ее Томпсон. — Они все вернуться сюда рано или поздно. Не беспокойся!

Улица была тиха, и молчалива, и совсем пустынна, словно все уже вышли из кино или разбрелись по делам.

Пибоди с Томпсоном направились к морю; все было ошибкой. Он объяснял ей, что кафе-бар Палмера, по большому счету, не очень-то хорош. Бары в Сан-Франциско — совсем другое дело! Вот бы ей на них взглянуть!

К вечеру поднялся ветер, прохладный, неслабеющий ветер! Они прошли два квартала, и тут Пибоди упомянула парад шляпок и прежде всего — шляпку миссис Рубинстайн.

— Пибоди, — спросил Томпсон, — о чем ты говоришь? Ты говоришь о шляпах?

— Да, — беспокойно ответила она.

— Шляпы! Шляпы, сидящие на головах огромных глуповатых женщин... Вот это зрелище! Такое зрелище я видел слишком часто.

— Конечно, — понимающе заметила Пибоди, там, на севере, — холодно. А ты больше думаешь о шляпках или о женщинах?

— О тех и о других. Помолчи, Пибоди!

Они продолжали медленно спускаться вниз на безлюдную авеню, к освещенным парусам «Баунти».

Нарядившись в праздничный туалет, миссис Рубинстайн отправилась к мисс Рутермер-Беркли — продемонстрировать свою шляпку. Встречались они не часто, но выказывали друг другу холодноватое, но неизменное почтение.

Каждый год сразу же пред весенним балом они обычно устраивали небольшую конференцию. Зажигались хрустальная люстра и лампы, миссис Рубинстайн была желанной гостьей. Ее ждали. Сознавая, какое удовольствие подарит своим появлением, она остановилась на миг в дверях, дабы снискать восхищение.

На сей раз огромная величественная дама была облачена в черный наряд, в сверкающий футляр из несовременных блесков, облежавших дугообразные изгибы ее могучих форм сверху вниз от белоснежного декольте до могучих же рук и рыхлого, лишённого мускулов живота прямо к полу, где распростерся пышный шелестящий шлейф. Одной рукой миссис Рубинстайн опиралась о косяк двери, другой легонько касалась полей своей громадной, отбрасывающей тень шляпы. В нынешнем году цвет ее был красный, шляпа была сотворена из темно-красного шелка и украшена фиолетовыми розами, правда, несколько роз были потрясающе голубыми. Одной голубой розе было дозволено опасть над одним ее глазом, другой же глаз смотрелся черным и торжественным, видимо, почти так это и было задумано. Мисс Рутермер-Беркли изрекла:

— Миссис Рубинстайн, вы великолепны! Позвольте предложить вам стаканчик шерри?

Хрустальный графин стоял на овальном столике с двумя застывшими в ожидании бокалами; миссис Рубинстайн подала бокал хозяйке, а потом — себе, высказав при этом словно бы свою собственную продуманную мысль, что, мол, традиции «Клуба пожилых» нуждаются в обновлении. Пока она была членом правления, она, мол, делала все, что в ее силах, но ее выпроводили оттуда, прежде чем многое, что имеет значение, было претворено в жизнь.

Мисс Рутермер-Беркли возразила собеседнице:

— Вы, очевидно, там слишком доминировали. Старые люди крепко придерживаются своих привычек, тут уж ничем не поможешь! Не желаете ли сигарету?

Миссис Рубинстайн вежливо отклонила предложение хозяйки. Она сказала:

— Я знаю. Я пугаю их. Трудно не слишком энергично идти вперед, когда тебе абсолютно ясно, что следовало бы изменить и как это можно было бы сделать. Представьте себе, будто кто-то пытается поднять тяжелый предмет на самую вершину холма, например, с помощью подъемной силы, а вы видите, что баланс ошибочно нарушен. Тогда в самом деле трудно не выскочить вперед и не сказать, каким образом надо использовать подъемную силу, дабы добиться эффекта и избежать катастрофы. Люди столь крайне мало осведомлены о том, как следует организовывать различные процессы...

Мисс Рутермер-Беркли слушала чрезвычайно внимательно.

— Это правда, — согласилась она. — Вообще, в связи с подобными вопросами могу упомянуть, что я долго-долго забавлялась мыслью о том, что именно вы, миссис Рубинстайн, были бы в состоянии модернизировать «Батлер армс» и вселить в этот дом новую жизнь и новые правила. К сожалению, это лишь игра воображения. Обещания и лояльность — вещи важные, а способностям иногда дано заменить собой творческую фантазию!

— Она устала, — быстро и неосторожно выговорила миссис Рубинстайн, имея в виду мисс Фрей.

— Да, устала именно теперь, — сказала хозяйка. — Но через несколько лет она, мол, соберется с силами. И тогда появятся новые идеи и вытеснят те старые представления, что более невозможны к употреблению. Единственно правильное и справедливое — присматриваться ко времени, в котором живешь. Миссис Рубинстайн, желаю вам всевозможного успеха в кавалькаде шляпок. Меня не удивит, если вы и в этом году принесете награду домой, в пансионат.

Она поднесла нетронутый бокал шерри к губам, и они расстались еще до наступления вечера.

Выйдя за дверь, миссис Рубинстайн закурила сигарету и подумала: «Устала? Хо-хо-ха! Никогда в возрасте Фрей я не уставала, никогда! Фрей рождена с полным отсутствием жизненной силы, и в старости ей уже никакой силы не обрести».

Линда вызвала такси, и миссис Рубинстайн прибыла в «Клуб пожилых» точно в нужный момент. Кавалькада шляп уже выстроилась

в ожидании музыки. Кто-то открыл двери, она медленно вошла в бальный зал и заняла первое свободное место среди всех стоящих в ожидании музыки, украшенных всевозможными шляпами и шляпками дам.

Когда пришли Пибоди и Томпсон, в тамбуре царила лишь веселая спешка, там оставались лишь неуверенные в себе и опоздавшие, да еще несколько разных сбитых с толку фрекен из Лас-Уласа.

Он искал свой бумажник до тех пор, пока Пибоди не вытащила пятерку и им обоим не прокомпостировали билеты у входа в балльный зал. Мимо быстрым шагом прошла мисс Фрей, она постоянно спешила, словно была вынуждена успеть вовремя или помешать какой-то надвигающейся опасности. Томпсон заметил, что старые девы с обновленными лицами — зрелище умопомрачительное, хотя они точь-в-точь такие же, как прежде; внезапно его обуяла меланхолия...

Играли медленный вальс. Бал всегда начинался с внезапной прерывистой музыки, затем звуки становились спокойнее, дабы к двенадцати часам перелиться лишь в самый тихий блюз. Котильон, естественно, был большим исключением, и играли его в той же манере, что и в начале века.

Они попытались было пробраться к скамьям, но тут же угодили в толпу танцующих и толкающихся людей. Томпсон, держась за юбку Пибоди и опустив голову, следовал за ней. С трудом втиснулись они в какой-то угол у окна, где было спокойно, и Томпсон погрузился в свое обычное для него на веранде молчание.

Край зала напротив, вплоть до самой стены, был битком набит плотными рядами женщин, а также деревянными скамьями, расположенными друг за другом с равными промежутками, словно огни маяка, что вращаются во все стороны. Кавалькада шляп окончилась, и мощные домодельные шляпы — одна красивее другой — покоились на оркестровой эстраде: необузданные, романтические, они походили на цветочные клумбы и свадебные торты. Миссис Рубинстайн танцевала с бургомистром, на груди у него красовался зеленый бант.

— Она снова заняла первое место! — крикнула Пибоди в ухо Томпсону, но он не слышал. Он, защищенный презрением ко всему на свете, был недостижим. Никто другой из пансионата «Батлер армс» не

танцевал в бальном зале, одна лишь фантастическая миссис Рубинстайн.

Эвелин Пибоди испытывала чувство гордости за нее и всхлипывала, точно так же, как всхлипывают, когда поднимают государственный флаг США. Весенний бал — нечто потрясающее. На всех шляпках дам — огромные, безумные страусовые перья, а лебяжий пух красиво струится под звуки вальса, навевая воспоминания о летних лугах. А какая забота о прекрасном! Многие прикрепили к запястьям тонкие вуали, и эти вуали отмечали танец долгими волнообразными арабесками... все кругом во всех мыслимых цветах радуги.

Танцующие женщины растрачивали на весеннем балу тайный опыт всей своей женской жизни, все, что узнали об очаровании глазок. Господа мужчины обнимали их морщинистые спины и пыхтели, большинство из них были в куртках или пиджаках.

Между окнами висели объявления от имени правления клуба, выписанные большими отчетливыми буквами: «Вы танцуете на собственный риск!» Однако на медсестре в тамбуре была не форма, а обычное платье, во всяком случае, миссис Рубинстайн благословила подобное мероприятие, прежде чем ее выгнали из правления. Она внимательно прислушивалась к дыханию бургомистра и предложила ему после первого тура выкурить вместе с ней сигарету в тамбуре.

Вообще-то, она не испытывала абсолютно никакого интереса к танцам. Было очень тепло. Огромный длинный зал бурлил, словно тесто на дрожжах, от своеобразного запаха, стойкого и сладковатого, но окна не разрешали открывать из боязни сквозняка.

Миссис Рубинстайн глубоко затянулась сигаретой и сквозь дымовую завесу покосилась на бургомистра, он был много ниже ее ростом и производил впечатление человека рассеянного. Она рассказала ему:

— У меня идея, небольшой подарок правлению. Что, если разделить помещение согласно условиям членов правления: бальный зал — для тех, кто терпеть не может свежий воздух, а другой — для тех, кто не терпит дыма? Бальный зал с медленным танго и слабое освещение для сердечников и морщинистых декольте, а другой — с неоновым освещением и поп-музыкой — для тех, кто плохо видит и слышит?

— Да вы шутница! Вам нравится шутить, — не улыбаясь, ответил бургомистр. Возможно, ему удастся уйти домой, не привлекая внимания, часов в девять. Однако хватит перебарщивать с прыганьем и танцами.

Появилась фрекен кассирша и сказала:

— Извините, но фру забыла заплатить за вход, это — два доллара.

Миссис Рубинстайн, охваченная внезапным гневом, ответила:

— Вам пришлют их завтра с шофером.

Ее шлейф прошелестел, когда она повернулась и вышла из круга неоновом света через кафе на задний двор к морю, где молча простояла в ожидании, пока ее сердце успокоится.

* * *

— Я ненадолго выйду, — сказала Пибоди, на этот раз чуть громче, но Томпсон уже давно исчез в своем самом недоступном убежище-резервации и не ответил ни слова.

Тим Теллертон не пришел, его нигде не было, никто не сказал ему про весенний бал. Кто-то же должен ему позвонить, ведь еще не поздно.

«Говорят из „Клуба пожилых“, у нас маленький праздник. Мы слышали, что вы в Сент-Питерсберге, и для нас было бы такой великой честью...»

Ей не надо называть свое имя, а только сказать, что это из «Клуба пожилых». Страхась по-настоящему, Пибоди стала искать свои очки для чтения и вспомнила, что они остались в другой сумочке, она захватила с собой лишь телефонную книжечку фрекен из кассы и попросила:

— Будь так добра, скажи мне номер телефона «Приюта дружбы», это очень важная беседа, а очки остались дома, эти только для дальновзоркости.

Фрекен из кассы открыла книжку и сказала:

— Шестьсот сорок три сто шестьдесят два.

— У меня нет с собой ручки, — пояснила Пибоди. — Не будете ли так ужасно добры записать его для меня?

— У меня нет ручки, — ответила девушка. Шестьсот сорок три сто шестьдесят два.

— Стало быть — шестьсот сорок три сто шестьдесят два?

Девушка из кассы, подойдя к телефону, набрала номер.

— Можете говорить, — сказала она и вернулась обратно к своему столу.

— Но номер занят, — прошептала Пибоди. — Занят все время!

Музыка смолкла, и толпы людей вышли в тамбур покурить. Мимо, поспешно отвернув лицо, прошла Фрей. Двое мужчин беседовали о беге собак наперегонки, у одного из них в нагрудном кармане торчала авторучка.

— Простите, — извинилась Пибоди, — могу я одолжить только на одну минуту вашу ручку?

— Извините, я не слышал, — сказал господин с авторучкой в нагрудном кармане.

— Могу ли я, если можно, одолжить вашу авторучку?

— Но у меня, к сожалению, авторучки нет.

— А эта? — в отчаянии спросила Пибоди. — В вашем кармане!

— Это сигара, — ответил он. — Сожалею. Она пошла обратно в угол, где сидел Томпсон, и села рядом, сложив руки на коленях. Вскоре он захрапел. Он медленно склонился вниз, а потом рывком выпрямился снова. Воротничок Томпсона съехал набок. А на обшлаге его пиджака висела очень маленькая черная шариковая ручка.

* * *

Она попыталась говорить низким голосом, деловито и так безразлично, как могла.

— Очень любезно с вашей стороны, — ответил своим красивым, поставленным голосом Тим Теллертон, — «Клуб пожилых» прямо напротив «Баунти».

Он привык схватывать все быстро и запоминать имена, это была частица его профессии:

— Я рад вашему приглашению и охотно приму его, если представится случай позднее.

— Нет, нет, — шепнула Пибоди. Она ожидала каких угодно трудностей, но только не отказа.

— Алло? Вы у телефона? Она ответила:

— Да.

Он довольно долго молчал, а потом спросил:

— С кем имею честь?..

— Пибоди, мисс Пибоди.

— Мисс Пибоди! Наконец-то я смогу поблагодарить вас за прекрасный букет. Это внимание с вашей стороны я ценю чрезвычайно высоко.

Кто-то стоял за ее спиной, ожидая возможности позвонить, она же, тесно прижав телефонную трубку к губам, выдохнула:

— Это пустяк, совершеннейший пустяк...

— Мисс Пибоди, надеюсь, у нас будет случай встретиться.

— Да, — слепо ответила она, — это очень легко, вам только надо взять такси, сегодня — единственный бал за всю весну, и было бы жаль... Я полагаю, мы были бы так разочарованы, мы устроили небольшой прием...

— Благодарю за любезность... — холодно ответил Тим Теллертон, — посмотрю, что я смогу сделать!

Пибоди положила трубку, и ее охватила паника. Она опять одурочена, не было никакого приема, никаких цветов, ничего. Она поспешно подошла к кассирше и объяснила ей, что у них, мол, милая фрекен, будет почетный гость, Тим Теллертон!

— Кто?

— Тим Теллертон, великая звезда эстрады!

— Никогда о нем не слыхала, — заявила кассирша.

— Я знаю... я понимаю... — запинаясь Пибоди, — вы слишком молоды, вы не могли слышать о нем, это абсолютно естественно. Но он очень знаменит и может прийти сюда когда угодно. Вот два доллара за вход, а записаться он ведь может позднее?

— Думаю, это невозможно, — ответила кассирша. — Он может стать членом клуба только через канцелярию.

— Но, милая фрекен, он придет! Он — знаменитая звезда эстрады!!!

— Это очень неприятно, — заявила кассирша, но у меня приказ правления.

Тут музыка зазвучала вновь, и тамбур опустел. Одна лишь миссис Рубинстайн стояла в дверях кафе. Ее большое лицо было очень бледно. Она спросила:

— В чем дело, мисс Пибоди?

Пибоди поспешно подбежала к ней и энергично прошептала:

— Вы не знаете, вы не знаете, что произошло!!! Тим Теллертон приедет сюда, он может появиться когда угодно, а прием ему у нас не подготовлен, и его даже не впустят без карточки члена клуба!

Миссис Рубинстайн с легким отстраняющим жестом сказала:

— Изложите факты. Как можно короче! Вы просили его прийти?

— Да

— От вашего имени или от имени клуба?

— От имени клуба, — прошептала Пибоди.

— Есть еще что-нибудь, что мне необходимо знать?

— Я послала ему розы, а он раздражен. И я сказала, что его ожидает прием.

Повернувшись к кассе, миссис Рубинстайн сказала:

— Моя милая фрекен, вы не учините абсолютно никаких препятствий, когда прибудет Тим Теллертон. Он приглашен правлением.

Она продолжила свою деятельность в бальном зале и, кивнув, подала знак дирижеру.

— Мистер Огден, у нас будет почетный гость. Я прошу вашего внимания. Когда вы увидите меня в дверях с пожилым, расположенным к полноте господином, вы прервете музыку. Вы возьмете в руки фанфару и сыграете пьесу Тима Тинкля. Вам ясно?

Мистер Огден сказал:

— Это пьеса, которую я не знаю.

— В таком случае возьмете только фанфару. Пусть кто-нибудь в оркестре передаст мне мою шляпу, первую от двери, а затем сыграйте медленный вальс, только один тур.

— О'кей! — согласился мистер Огден. — Но не впускайте гостя прежде, чем мы разделаемся с двадцатым веком.

Кивнув в знак согласия, миссис Рубинстайн вышла на улицу. Ближе от входа стояла толпа облаченных в кожаные куртки тощих

юнцов с пышными копнами волос. Шагнув к ним, она сказала:

— Добрый вечер! Мне нужна ваша помощь. Повернувшись на 180 градусов, они взглянули на нее. Один из них был Баунти-Джо. Она продолжила:

— Через некоторое время сюда приедет старый человек — в такси. Он был великой звездой эстрады, а имя его — Тим Теллертон. Тим Теллертон! А теперь я попрошу вас, когда он прибудет, выказать хоть какую-то долю энтузиазма.

«Она — вылитое украшение на носу старинного корабля — крупная, заметная. А за последнее время еще больше выросла», — подумал Джо.

Подойдя к ней, он сказал:

— Миссис Рубинстайн, все о'кей! Мы уладим это дело!

Стая юнцов за его спиной была совершенно неподвижна. Сигареты, мерцавшие в их руках, — неподвижны. Юнцы глазели на нее, как плазуют на выходцев из другого мира.

— Джо... — произнесла миссис Рубинстайн. На какое-то мгновение она замешкалась, но не нашла, что можно было бы добавить, и вернулась обратно в клуб.

Мистер Огден стоял впереди, у самой рампы, с вытянутыми руками.

— Двадцатый век! — воскликнул он. — Следуйте за нами в неотразимый, чарующий двадцатый век. Давайте на краткий миг вернемся назад, пусть вспомнит каждый из нас свой собственный — удивительный — двадцатый век! — Он повысил голос: — Прошу поплодировать мисс... Алисии... Браун!

И вот она явилась снова, в сотый раз, дрожа от собственного возбуждения, ее всегда лихорадило при виде рампы.

Какой сюрприз — ее наряд! Она предстала, облаченная в шелк. Прежде этот шелк назывался креп-сатен, и был он и более блестящим, и более дешевым по сравнению с другими шелками. В одной руке у нее был длинный сигаретный мундштук, а другую руку она изящно держала у самой своей низко посаженной тонкой талии. Скованно, но уверенно достигла она середины сцены и запела:

«Дельфин, коала и маленький старина крысенок играли в покер, когда часы пробили восемь, все были в шляпах, и никто — не женат, а бэби заставил нас позабыть про все на свете и пуститься в разгул!»

Неплохо, работа как работа. Она не утратила еще свой стиль, а ей около семидесяти. Правда, ноги у нее сильно и как-то некрасиво похудели, но пока она не двигалась по сцене и свет прожектора падал косо сверху, минуя шею, — еще куда ни шло... Лицо ее по-прежнему в форме сердечка и декорировано вечно удивленными бровями.

«Дельфин и коала сказали: теперь нам плевать на вас, мы только играем в покер, а домой — ни шагу как раз, и это — нам в самый раз... ох, бэби, дэнг, дэнг, дэнг, а спим мы — тэнг, тэнг, тэнг в нашей собственной маленькой кровати...»

Ханна Хиггинс сидела в самом центре скамей и, слегка кивая в такт музыке, узнавала знакомые стишки, столь веселые и невинные... «Как они учтивы по отношению к нам, — думала она, — ведь двадцатый век наступил гораздо позднее... Хотя было бы, верно, приятно, если бы она спела что-нибудь из репертуара того времени, когда ты был действительно молод, а тогдашние наряды — красивы. Крыса так расстраивалась из-за того, что жила вместе со своей мамой, и это, разумеется, хорошо, но ведь никогда не может все оставаться по-старому».

Потом оркестр играл уже без песенного сопровождения. А мисс Алисия Браун застыла, как немая статуя, в черно-белом одеянии: плененная неподвижностью, взирала она во мрак праздничного зала.

— Бедный дружок! — произнесла миссис Хиггинс, ее мысли стали какими-то сбивчивыми, а миссис Рубинстайн подумала: «Это — афазия, конец света».

Мистер Огден начал снова с того, что все это очень-очень хорошо, но ведь никогда не может все оставаться по-старому, а мисс Алисия Браун была по-прежнему нема и, подняв сложенные крестом руки, прикрыла ими лицо... застыв в позе стыда, затем она простерла их перед собой с обезоруживающей уверенностью в прощении публики. Прощение пришло немедленно в виде бурных аплодисментов. Сент-Петербург любил мисс Алисию Браун; раз за разом исполняли они вместе с ней первую строфу песни.

Огден был не глуп, он знал свое дело.

Всю свою жизнь Тим Теллертон был очарован дамами в возрасте старше его самого, дамами, которые, насколько это возможно, предоставляли радость для глаз и полновесное интеллектуальное общение. Он высоко ценил дружбу, не загрязненную чересчур личной интонацией, досадными неприятностями, дружбу, что в состоянии сохранить хотя бы искру увлечения, напряженности, едва уловимой возможности... Очень немногих женщин могло удовлетворить наличие этой тонкой дистанции между ними и возможность сохранить эту дистанцию на какое-то более длительное время, тем более что он никогда своих пожеланий на этот счет не выражал. Да им и редко бывало присуще понимание нюансов и баланса отношений. Мало-помалу позволяли они старости уничтожить и женственность, и гордость, а прежде всего — гордость самой своей старостью. Это высокородное убеждение в том, что старости с приятностью достаивается лишь королева.

Веранда в пансионате «Приют дружбы» испугала его, да и весь город был беспокоен. Лицемерие хрупкой седовласой дамы всегда пробуждало сильное и прекрасное волнение в душе Тима Теллертона, однако же видеть их сотнями не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Переодеваясь, он отметил мисс Пибоди как явно одну из тех, кому удалось утратить тонкость и благородство своего возраста. Его же собственная уступка возрасту была лишь данью той учтивой интеллигентности, которой он никогда не изменял.

Знаменитая луна Флориды уже взошла и расположилась над «Баунти» во всем своем совершенстве.

Шофер сказал Теллертону, что для этого времени года в Сент-Питерсберге жарко и что в будущем году он запишется в «Клуб пожилых», он любит играть в бридж.

— Это — интеллигентная игра, — ответил пассажир.

Пирс раскинулся, озаренный голубым лунным светом; когда машина остановилась, ей навстречу медленно вышла горстка юнцов и выкрикнула нечто, им не слышанное. Шофер распахнул дверцу автомобиля и крикнул:

— А ну, убирайтесь отсюда, не поднимайте шум и не устраивайте заварушек!

Наполовину нараспев, начали они выкрикивать его имя, притоптывая в такт ногами:

— Тим Теллертон, Тим, Тим Теллертон, Тим! Один из них, присев на корточки на асфальте, протянул ему цветок.

«Это хиппи, — подумал Теллертон, — но они дружелюбны, они знают, кто я такой!»

Выйдя из машины, он повернулся к ним, отчаянно пытаясь найти слова, слова для хиппи... С цветком в руке он воскликнул:

— Love^[23]! Какая прекрасная ночь!

Они ответили ревом, чрезвычайно слаженным воем, и тут навстречу ему появилась от имени клуба огромная женщина — миссис Рубинстайн, его ввели в пустую комнату со спертым воздухом, и раздались звуки фанфары.

В следующий миг эта женщина, облаченная в шляпу невероятной величины, стояла уже рядом с ним. Он медленно танцевал вальс среди целого моря стариков и старух, менявших цвет с красного на зеленый и с зеленого на красный. Шляпа женщины мешала ему, и он по-прежнему держал в руке цветок, под сжатой в кулак рукой он ощущал круто колышущуюся спину и кайму твердых блесток.

Он сказал:

— Ваше приглашение — знак внимания, которое я высоко ценю.

— Я знаю, шляпа мешает, — ответила миссис Рубинстайн. — После одного тура я ее сниму. Такова традиция, которой я должна придерживаться.

— Да, старых традиций следует держаться, — автоматически пробормотал Тим Теллертон, пытаясь показать улыбкой, что ценит также профессиональную ответственность.

Они продолжали молча танцевать. Когда музыка смолкла, он сунул цветок в карман; тот был велик и влажен, кажется, ему преподнесли гибискус.

— А теперь, — сказал он, я был бы благодарен, если бы вы пожелали представить меня небезызвестной мисс Пибоди.

Но мисс Пибоди отсутствовала, она вышла на место парковки.

Там, где она стояла среди машин, она видела, как стая юнцов по-прежнему бредет дальше по пирсу, медленно и печально напевая: «Тим Теллертон, Тим Теллертон, Тим». Это звучало, как псалом, а двигались они словно в каком-то полутанце, и вдруг она услышала, что они весьма энергично хохочут во все горло.

— Так вот ты где, Пибоди, — произнес Томпсон, — жуткое представление. Выпей немного коньяку.

— Нет, спасибо, я подавлена. Я дурно себя вела.

— Именно поэтому, Пибоди! Ты — фаталистка. И ничему меня не научила.

Коньяк помог. Мальчишки снова запели, заставив песню перейти в вой. Потом они начали танцевать, превратив танец в пародию на нежную музыку, струившуюся вместе со светом из здания клуба. Двигались они очень медленно, словно исполняя обряд заклинания духов. Томпсон сидел на земле: вцепившись одной рукой в собственные волосы, он пытался что-то сказать, но Пибоди его не слушала.

Она не спускала глаз с танцующих, с их узеньких ног, передвигающихся в лунном свете все дальше и дальше по пирсу, или торжественно топчущих собственные свои тени... И внезапно эти юные существа показались ей грозными и как будто несущими роковую, судьбоносную весть. В какой-то неуловимый миг она внушила себе, что они предвещали смерть, они были словно сама смерть, — непримиримо безжалостны и прекрасны. И она поделилась своим открытием с Томпсоном:

— Смерть молода. Она абсолютна молода.

— Пибоди, — ответил Томпсон, — у тебя в голове сплошная путаница, но это ровно ничего не значит. Соберись с мыслями. Мы говорили о Сан-Франциско. Этот город — твердый орешек. Там у меня есть друг, умный человек по имени Иеремия Спеннерт. Ты следишь за ходом моей мысли? Мы обычно беседовали друг с другом по вечерам, когда становилось темно и виднелись только его зубы.

— Почему? — спросила Пибоди, мысли которой были очень далеки отсюда.

— Темное освещение!.. Я имел в виду, что свет у них был плохой. А Спеннерт был совершенно... необычайно умен.

— Но естественно, — сказала она. — Так тоже могло быть.

— Черный! — воскликнул Томпсон. — Иеремия Спеннерт черный как смоль! Пибоди, почему ты никогда не слушаешь, что я говорю!

Баунти-Джо стартовал на своем мотоцикле. Рисуя колесами громадные восьмерки, он промчался вдоль и поперек по всему пирсу

и прогрохотал наконец мимо них по направлению к городу. Она видела только белый крест, намалеванный им за мотоциклетным щитком, светящийся фосфорическим светом.

— Господи Иисусе, — произнесла Пибоди, это знак смерти.

* * *

Все в «Батлер армс» погасили свет и отправились на покой, а зелень на заднем дворе окутал мрак, и лишь цветы на кустах сияли белизной. То было ничейное и хорошо защищенное место. Элизабет Моррис медленно бродила взад-вперед по траве, иногда она тихонько останавливалась, прислушиваясь к шуму ветра, доносившегося с моря, едва ли более сильного, нежели просто слабый порыв...

— Добрый вечер, мисс Моррис, — приветствовала ее Линда, стоявшая в черном четырехугольнике окна своей комнаты.

Лицо же ее было словно цветок во мраке.

— Здесь чудесно, — сказала Элизабет Моррис. — И такой аромат цветов!

Они услышали, как внизу, в гавани, стартовал мотоцикл и, проехав по авеню, миновал городской парк. Когда снова воцарилась тишина, Линда спросила:

— Миссис Моррис, можно мне поговорить с вами? О его «хонде»? Можно спросить вас, любите ли вы машины?

— Не особенно.

— Он любит его, — пояснила Линда, — любит, будто ребенка. Он копил деньги на этот мотоцикл с тринадцати лет. Это модель номер семьдесят один. Миссис Моррис, вы, кажется, не торопитесь? У него отличная машина. Она делает крутые повороты будто ангел! А что делать мне? Он хочет, чтоб я сопровождала его и в Силвер-Спринг.

— Ты боишься? — спросила миссис Моррис.

— Чего?

— Съехать в канаву, погибнуть, — ответила Элизабет Моррис, продолжая ступать по траве, вплотную у самых кустов, так что листья, глядя, касались ее лица.

Линда расхохоталась за ее спиной.

— Я не погибну, — объяснил ее приветливый голосок. — Я ненавижу машины, как и мама, как и все настоящие женщины.

Предположительно внизу, у пирса, дуло сильнее. Жара была чрезвычайно утомительна.

— Так чего же ты хочешь? — спросила Элизабет Моррис. — Что тебе известно о настоящих женщинах? Он любит свой мотоцикл, а ты любишь его. Ничего проще нет. Ты примешь и его мотоцикл!

— Да, миссис Моррис!

— Зачем же спрашиваешь меня о том, что и самой хорошо известно?

— Не знаю, — ответила Линда. — Спокойной ночи, миссис Моррис.

Миссис Моррис вышла из дома, дул ветер, походивший на прохладный ровный поток... Медленно спустилась она вниз, к гавани, плененная красавицей-ночью. Пирс был пустынен. Сквозь распахнутую дверь «Клуба пожилых» далеко на асфальт падал неоновый свет, озаряя его на мгновение. Она остановилась и заглянула в вестибюль, где кассирша читала, сидя за своим столом.

Комнатка, обшитая тесом, была скучной и едва ли больше обыкновенного барака. Миссис Моррис повернулась, чтобы уйти домой. «Как глупо, — подумала она, — как грубо! Не придают порогу дома ни ощущения великого ожидания и предвкушения, ни малейшей праздничности... Полагаю, тем, кто явится сюда, придется вешать свои норковые шубки на гвоздь. Могу поклясться, что там даже зеркала нет!»

Из вестибюля вышли две старые дамы, стройные, с тиарами на седых волосах. Стоя рядом в своих длинных платьях, с лицами, обращенными в сторону ветра, они походили на двух королев, дозволивших себе краткий часок одиночества. Рука об руку вернулись они в зал, а манера держаться в этом невеселом помещении, да и походка разоблачали все значение их декольте и исключали даже малейшее сомнение в том, что весенний бал был достойным и пышным празднеством.

Миссис Моррис заплатила в кассу и предъявила свой членский билет. В дверях бального зала билет проштамповали и попросили по возможности не курить в зале.

Праздничный зал раскинулся перед ней, озаренный розовым сиянием, и внезапно тревога и глубокий страх накатились на нее как волна. Тут буквально рядом с ней очутилась мисс Фрей и прошептала:

— Котильон! А приглашает к танцу главный врач из местной больницы.

Главный врач стоял перед эстрадой, провозглашая великий ежегодный котильон Сент-Питерсберга. Он занимался этим на каждом весеннем балу уже целых пятнадцать лет, а его предшественником был профессор — специалист по внутренним болезням. По обе стороны от главного врача стояли присяжные — танцующие кавалеры, одеревенелые, словно палки, и каждый из них был облачен в костюм того же цвета, что и платье не известной другим дамы. Врач провозгласил:

— Белая лента!

И в глубокой тишине, в стыдливом сознании своей значимости, из моря преисполненных ожидания женщин отделилась одна — празднично разодетая в белое женщина и скользнула к господину, облаченному в костюм белых тонов. Она встала рядом с ним, глядя прямо перед собой.

— Что они делают? — спросила миссис Моррис. — Чем они занимаются?

Кэтрин Фрей, глядя на эстраду, прошептала:

— Этот выбор случаен! Любой имеет право на танец. Но речь идет о том, чтобы вовремя принять в нем участие, ведь тонов одежды не так уж и много... В этом году дамы явились на час раньше и всё захватили в свои руки!

— Зеленая звезда! — провозгласил главный врач. — Желтая роза! Алая и голубая розетки!

В конце концов никаких цветов больше не осталось, бархатный поднос оказался пуст. Избранные, пара за парой, ждали, не глядя друг на друга, когда зазвучит музыка. Лучи прожекторов — оранжевые и ярко-красные — начали сменять друг друга. Зазвучала музыка. Кавалер с белой лентой танцевал котильон с дамой в белом. Желтая роза танцевала с желтой розой...

Ежегодный котильон Сент-Питерсберга — плод стародавнего обычая, отмеченный торжественной серьезностью и теми мелодиями, что всякий раз пробуждали горестные и приятные ощущения, вызывая

дрожь узнавания и воспоминаний. Длинные плотные ряды женщин сидели молча, неотрывно разглядывая танцующих. Тим Теллертон, склонясь над невероятно маленькой, скованной неестественностью дамой, пытался заставить ее кружиться в танце; она тяжело дышала.

— Элизабет! — вскричала миссис Хиггинс и поднялась в ряду дам, сидевших на скамье. — Элизабет, я хочу танцевать!

Как трудно было пробиться мимо всех этих колен, рассыпая направо и налево извинения, но наконец она ступила на танцевальную площадку и протянула руку миссис Моррис.

— Дорогая миссис Хиггинс, — поспешно проговорила миссис Рубинстайн, — по-моему, вам это не подходит. Мое предложение о дамском танце рассматривалось наверху — в самом правлении, однако его отвергли.

Миссис Хиггинс ответила:

— Ребекка, не беспокойтесь. Там, откуда я родом, мы танцевали друг с другом на каждой танцевальной площадке. Какое-то мгновение, обе очень серьезные, они прислушивались к звукам музыки, а потом включились в медленный вальс. Картины жизни и даже слова могут исчезнуть, но танец забыть нельзя. Ханна Хиггинс почувствовала свое новое, отягощающее ее бремя, и в глазах ее возникла непонятная робость; она крепко держала за руку Элизабет Моррис. Они танцевали без усталости, танцевали почти церемонно, держась на расстоянии друг от друга, но красиво взвешивая каждое движение, каждый поворот.

— Все идет хорошо, не правда ли? — спросила Элизабет.

Ханна Хиггинс кивнула, не отвечая, она лишь мимолетно улыбнулась. Места у них было предостаточно, все время вокруг них зияла пустота. Луна зашла за тучи, а ветер постепенно усиливался. В воздухе пахло дождем. Необычайно слабые звуки музыки доносились к месту парковки машин, море уже бурлило.

Эвелин Пибоди сидела на пустом ящике, чувствуя себя несчастной из-за всего, что натворила, и задавала самой себе вопрос: очень ли ее презирают в недрах клуба. Ветер был влажный, и Пибоди не хватало ее вязаной шали, но она не осмеливалась войти в дом и взять шаль. Порой жизнь бывает совершенно ужасна, но, кажется, хуже всего, когда она, Пибоди, пытается оказать услугу.

— Пибоди, у тебя что, насморк? — спросил Томпсон.

Она коротко ответила:

— Я чувствую себя несчастной!

Вдохнув ртом воздух, он очень медленно выдыхал его, а затем сказал:

— Несчастье, ха-ха, исключительно интересовало моего друга Иеремию Спеннерта, он частенько говаривал об этом. Он говорил о народе, считающем, что несчастье — редкостное состояние духа, и бывал искренне изумлен, когда людям становилось плохо. Он знал, что на самом деле — все наоборот, как раз наоборот.

Томпсон лег на землю, прикрыв лицо рукой, а через некоторое время добавил:

— Не играй с горем!^[24] — изрекал Иеремия Спеннерт...

— Нечего лежать не земле! — рассерженно воскликнула Пибоди. — Можете схватить воспаление легких!

Ей уже хотелось домой, в свою постель. Ей хотелось завернуться в свою шаль. А они там пусть думают что угодно и пусть делают все, что хотят.

Котильон катился все дальше своим чередом во втором туре, и, словно маяк в море, стояла в зале мисс Фрей и видела, как весь город, танцуя, проплывает мимо...

Делая сложнейшие па, танцевал Тим Теллертон, а его дама двигалась абсолютно независимо от музыки и одновременно не спуская с него глаз. У Теллертона под улыбкой скрывалось ужасное отчаяние. Кэтрин Фрей узнавала отчаяние, в какой бы форме оно ей ни встречалось, ей, что жила в близком соседстве с беспомощностью. «Так ему и надо, — думала она, — лжец бессовестный и прогнивший насквозь!» Теллертон с дамой протанцевали мимо буквально рядом с ней, и Фрей вдруг, не подумав, воскликнула:

— К телефону! Мистера Теллертона к телефону! В дверях тамбура она кратко объяснила ему, что никто не звонил.

— Моя фамилия Фрей, я курирую счета в «Батлер армс». Мне показалось, что у вас не было желания танцевать...

— Это очень мило с вашей стороны, — серьезно ответил Тим Теллертон.

Она пожала плечами, и они какой-то миг постояли рядом, глядя на танцующих. Третий тур котильона уже начался.

— Извините, — сказала Пибоди и проскользнула мимо в дверь, шустрая, словно мышь, и вдруг музыку прорезал крик. Повторяющийся долгий крик какой-то женщины... Мертвая тишина... Посреди площадки лежал, подогнув ноги, маленький толстый человечек. Кто-то поблизости прошептал:

— Это же мэ́р города. Он никогда не любил танцевать...

Оркестр заиграл блюз. Медсестра, одетая в обычное платье, выскочила из вестибюля, и мэра унесли; лица его так никто и не видел. Тим Теллертон сунул руку в карман и сжал подаренный ему цветок; то был гибискус, уже увядший гибискус... Эти цветы вянут почти тотчас же.

— Позвольте представить, — сказала миссис Рубинстайн. — Глаза ее были черными как уголь, — Тим Теллертон — мисс Пибоди! Она взяла Пибоди за руку легко, но довольно крепко. В ее хватке чувствовалось указание, подсказка — держать себя в узде.

Он автоматически изрек:

— Роза, мисс Пибоди, роза всегда была моим любимым цветком. Потанцуем!

Эвелин Пибоди охватило замешательство, то самое замешательство, которое находило на нее, когда что-либо случалось неожиданно, сразу, и ей приходилось делать то, чего от нее ожидали другие. Все слова сразу исчезли, она не попадала в такт музыки. Под люстрой, где упал мэ́р, никто не танцевал. Танцевать именно сейчас было бы ошибкой, причем бессердечной. Пибоди чувствовала себя худо, голова кружилась... Наконец она пролепетала:

— Не знаю, я в самом деле не знаю... Он всегда старался уйти домой в девять...

— Вы знали его? — спросил Теллертон.

— Нет! Однако умереть в самом разгаре весеннего бала!

Люди вокруг нее, казалось, утратили весь свой разум, они скользили с быстротой молнии мимо, взад-вперед, вверх и вниз по лестнице и снова рывком возвращались обратно, совсем в другую сторону, весь зал был какой-то косой... Она пыталась взглянуть на Теллертона, взглянуть мельком, и видела лишь множество крупных белых зубов, их было слишком много, возможно, у него больные десны, тогда зубы растут, кажется, именно так. Но нет, только не у Тима Теллертона, только не у него... Шаль по-прежнему лежала на

подоконнике. Пибоди круто остановилась, пробормотав что-то о ночном ветре. Она сделала легкий книксен, напоминая поклон, рванула к себе шаль и выбежала из клуба.

* * *

Томпсон лежал, свернувшись калачиком за автомобилем, но он не спал. Она неустанно, раз за разом повторяла, что пора идти домой.

— Это правда, Пибоди, это абсолютная правда, — отвечал Томпсон. — Нам... нам надо идти домой!

Поднявшись на ноги, он отыскал свою трость, и они вышли с места парковки, пересекли пирс и двинулись дальше в нескончаемый, поросший травой мрак. Платье ее полоскалось, точно парус на ветру. Теперь она чувствовала себя лучше и больше не мерзла. В прежние времена нижние юбки всегда были из тафты, они шуршали на ходу.

Сняв очки, она заплакала.

Чудесно было идти по траве. Вдоль берега покачивались сотни белых увеселительных шлюпок, но ни одна из них не была освещена.

Пибоди крикнула навстречу ветру:

— Мэр умер в самом разгаре котильона!

— Что? — спросил Томпсон.

— Мэр! Он умер в самом разгаре котильона! А когда лежал на полу, выглядел ужасно!

— Пибоди, — отвечал Томпсон. — Послушай-ка, что я скажу. Они все выглядят так, когда лежат на полу. Мой друг Иеремия Спеннерт обычно спрашивал: «А что потом?» Размышлять тут не о чем. С ними покончено, и возможно, они стали чуточку разумнее.

Пибоди же только плакала от усталости и тревожного напряжения, оплакивая всех, кто умер в разгар танца, и всех, кому не довелось танцевать. Она вытирала глаза шалью, и ей было трудно находить дорогу. Вдруг полил дождь.

— Пибоди, — строго проговорил Томпсон. — Теперь уже хватит! Ты оплакиваешь мэра?

— Нет, не его, никого! Но так жалко людей!

— Что ты сказала, что означали последние слова, которые ты произнесла?

— Что людей жалко! — воскликнула Пибоди. — Что их надо жалеть!

— Дерьмовая болтовня! — возмутился Томпсон. — Пибоди, у тебя не все дома! А коли хорошенько подумаешь, не пожалеешь ни единого дьявола, но ведь ты не осмелишься подумать как следует...

Он завернул в какие-то кусты, и его вырвало. После этого он сказал, что Вторая авеню — скорее восточнее.

Они стали подниматься в гору. Дождь лил все сильнее, а уличные фонари с долгими промежутками раскачивались над ярко-зеленой растительностью, шумевшей на ветру, и над окнами, черневшими в стенах домов.

— Однажды, — заговорила Пибоди, — мы с папой отправились к реке, а погода испортилась, стала вдруг такой же, как сейчас. Он повел нас к какому-то заброшенному дому. То был удивительный дом со сломанным полом. Я заснула на полу. Ветка с зелеными листьями протянулась через открытое окно прямо в комнату и оказалась как раз над моей головой...

— Пибоди, я не слышу, что ты говоришь, — ответил Томпсон, — я не услышу больше не единого слова из тех, что кто-либо скажет мне нынче ночью.

Они вернулись обратно в «Батлер армс» и расстались в вестибюле. Всю ночь продолжал лить дождь, почти тропический дождь, что принес такую огромную пользу длинному побережью, граничащему с Мексиканским заливом.

Утром дождь почти прекратился и дождевики падали так тихо, словно где-то раздавался легкий шепот. Все в доме спали. Ближе к полудню постояльцы стали один за другим выходить на веранду, но еще не разговаривали между собой.

В час пополудни миссис Рубинстайн отправилась в угловую комнату и преподнесла владелице пансионата свой зеленый бант. Бант прикрепили булавками к стене рядом с другими зелеными бантами.

— Для меня это загадка, — высказалась наконец владелица «Батлер армс», мисс Рутермер-Беркли, — в самом деле вызывает удивление, как вы всегда ухитряетесь отыскать шляпу красивее всех остальных?!

Миссис Рубинстайн, слегка улыбнувшись, ответила:

— Шляпа тут ни при чем. Главное — моя манера носить шляпу! Мисс Рутермер-Беркли, заверяю вас, это вопрос того же свойства, что и вопрос о моей сильной воле. Возможно, иногда я могу совершать ошибки, но мне почти всегда удается произвести впечатление, что я права. Только подлинный страх может помешать тому, что я пытаюсь совершить.

— Я верю вам, — согласилась со словами Рубинстайн владелица пансиона. — Я старая женщина. Я уверена: то, что вы мне сообщаете, обладает своего рода истинностью.

Поиграв цепочкой от часов, она помолчала и наконец произнесла:

— Я слышала от мисс Фрей, что двое из наших дам танцевали на вчерашнем балу друг с дружкой. Часть наиболее консервативных членов клуба были, как будто, глубоко задеты и даже шокированы. Миссис Рубинстайн, вы могли бы использовать ваши способности, чтобы тактично предупредить наших дам? Вопрос этот, разумеется, совершенно безобиден, но мог бы привести к озлоблению, если бы подобному примеру последовали другие.

— Озлоблению? — повторила миссис Рубинстайн. — Пожалуй, это не может привести ни к чему другому, кроме того, что эти бедняжки смогут, наконец, потанцевать. И к тому, что господам-мужчинам удастся избежать участия в танцах.

Мисс Рутермер-Беркли согласилась признать, что это звучит справедливо и разумно, но справедливость, к сожалению, не всегда бывает тем, к чему можно прибегать в жизни.

— Лично я, — высказалась она, — абсолютно свободомыслящий человек, но в городе, таком как Сент-Питерсберг, следует придерживаться принятых обычаев и определенного порядка. У нас множество стародавних традиций. А мисс Фрей не всегда тот подходящий Человек, когда речь идет о передаче сведений личного характера.

Беседа не доставляла владелице «Батлер армс» удовольствия, она стала медленно массировать руки и, подняв глаза, завершила визит миссис Рубинстайн легким кивком.

В два часа дня дождь был едва ли сильнее и заметнее легкого тумана, и три дамы вышли прогуляться на задний двор.

— Но почему? — спросила Ханна Хиггинс. — Мы танцевали очень спокойно и никому не наступали на ноги. Что они имели в виду?

— Забудь это, — ответила Элизабет Моррис. — Люди просто удивительны! Сколько бы им ни было лет!

Юхансон прошел мимо, неся жестяную банку, которая, предположительно, содержала нечто важное.

— Большинство, — вступила в разговор миссис Рубинстайн, — большинство живет, словно работая на холостом ходу. На холостом ходу мои дамы! Они функционируют по привычке. Они занимаются множеством мелких вещей, которые отвлекают их мысли. Вы, Элизабет, — продолжала она, быстро повернувшись к миссис Моррис, — чем занимаетесь вы? Нашли ли вы совершенное для себя бытие, что не нуждается в отговорках и увертках? Осмеливаетесь ли вы ничего не делать вообще?

— Это было бы, пожалуй, чересчур хорошо, да и чуточку легкомысленно, — ответила Элизабет Моррис.

Поправив волосы, она отошла от своих собеседниц и поднялась на веранду.

— Дорогая Ребекка, — сказала миссис Хиггинс, — ты опять ее запугала. Думаю, ее надо оставить в покое. Иногда хорошенько не знаешь, чего хочешь и что из всего этого получится... Миссис Рубинстайн долго и хрипло смеялась.

— Неужели это возможно? — спросила она. — Вы в самом деле обнаружили, что эти дамы после столь долгой жизни не ведают, чего хотят, и даже ни в малейшей степени не подозревают, что из всего этого получится?

Ханна Хиггинс, подумав, серьезно ответила, что, в основном, достаточно того, что ей нравится...

Юхансон вернулся уже без жестянки, с каким-то неопознанным инструментом в руках, и исчез за кустами. На многих кустах этой же ночью распустились цветы.

Около трех часов снова полил дождь. Тим Теллертон пересек улицу, чтобы нанести визит вежливости, и Пибоди, увидев, что он идет, вскочила на ноги. Она пыталась найти нужные слова, какие угодно слова... объяснения.

Он остановился возле крыльца и спросил, все ли они чувствуют себя хорошо, но Пибоди не смогла придумать ни единой красивой маленькой неправды, которая оправдала бы тот фатальный вчерашний вечер, скрыла бы и сгладила все его обстоятельства. Она выпалила:

— К сожалению, нет! Не все... Двое из нас ушли навсегда, два кресла-качалки — пусты... Но войдите и садитесь, не стойте под дождем... и разве не чудесно, что нам выпало на долю немного дождя...

— Поднимутся новые побеги и вырастут новые цветы, прилетят новые пчелы, — произнесла, сердито качаясь в своем кресле, миссис Рубинстайн. — Все снова начнется с самого начала. И новые пенсионеры тоже. Садитесь!

Пибоди заставила ее изменить своему стилю, а когда Пибоди впадала в раж, ни один человек не мог собраться с мыслями. Теллертон переводил взгляд с кресел-качалок на миссис Рубинстайн, но не садился. Она сказала:

— Не обращайтесь на меня внимания! Иногда я бросаю слова на ветер!

— Все снова начинается сначала! — торжествующе воскликнул Томпсон, — все снова и снова, так, как болтают женщины! Видели вы, как они поднимают петли на чулке, видели? Они пойдут на все ради того, чтобы спасти чулок!.. Иеремия Спеннерт выбросил бы все чулки в море!

Тим Теллертон молча стоял, глядя на них. Наконец он спросил, можно ли видеть мисс Фрей, но это оказалось невозможным.

— Извините нас! — произнесла Ханна Хиггинс. — Пожалуй, мы увидимся в другой раз. Бывают дни, когда слишком многое случается, а мы к событиям не привыкли. Полагаю, каждому из нас понадобится немного времени на размышления.

— Это правда, — согласился Теллертон. Изысканно поклонившись миссис Хиггинс, он покинул веранду.

* * *

Настало воскресенье, и Тим Теллертон спустился вниз в гавань, ничего другого не оставалось. Гавань для тех, у кого здоровые ноги, а городской парк — если они слабее. На пирсе было полным-полно людей, и он походил на обычное веселое приморье: маленькие белые шляпки, озаренные солнечным светом, рулили в открытое море, а люди были одеты в платья и костюмы летних цветов. Многие пришли с детьми, а на месте парковки было невероятное множество машин; два автобуса стояли в ожидании неподалеку от «Баунти».

Небольшая четырехструнная гитара, которая всем своим видом говорит о гавайской музыке, без конца повторяла одно и то же нежное утешение, а дети, бегая туда-сюда, кричали, как птицы, и их тоже приманивали обратно своими криками птицы. День выдался, будто славное дружное семейное воскресенье.

Вместе со всеми Теллертон заплатил в кассу за билет и вошел в субтропический сад. У схода стоял Джо, помогая туристам подняться на борт.

— Привет! Алоха! — повторял он.

Каждой даме дарили пластиковый цветок гибискуса. Люди сегодня толпились до полудня, и очередь тянулась до самого корабля. А в дальнем конце стоял толстоватый пожилой господин с прекрасными глазами, господин, одержимый беспокойством и пытавшийся привлечь к себе внимание Баунти-Джо.

— Привет! — воскликнул Джо. — Алоха! Все о'кей?

Когда же Тим Теллертон слегка улыбнулся, Джо узнал его и еще раз произнес:

— Привет! Какая нынче прекрасная воскресная погода!

Мало-помалу великолепный день склонился к вечеру, и белые шлюпки возвращались обратно, лавируя у входа в гавань. В нужное время на корабле зажглись огни. Люди постепенно исчезали — кто наверху, в самом Сент-Питерсберге, кто в Тампе, или в Сарасоте^[25], или же далеко-далеко в этой громадной стране. Они садились в свои машины и пускались в путь. Сент-Питерсберг же снова становился тихим, беззвучным городом.

Когда Тим Теллертон вернулся обратно в «Приют дружбы», принял ванну и лег отдохнуть, он озабоченно подумал о том, что кому-то следовало бы помочь юноше, что стоит возле «Баунти», побеседовать с ним, попытаться дать ему понять: время не бесконечно. Оно течет быстро, все быстрее и быстрее. Он, этот юноша, должен бояться быстротекущего времени и найти себе преисполненную смысла работу. Тим Теллертон знал, что ничто столь незаметно-расточительно не бросается на ветер, как красота, редко, впрочем, возвышенная до подлинной своей ценности, покуда она в расцвете, а позднее удерживаемая с помощью чрезмерных усилий и отчаяния.

Расточительство — бессмысленное и бесперспективное — печалило его. Всю свою жизнь держался он на расстоянии от благополучных, но ненадежных высоких постов, фейерверков и тех преувеличенных выражений чувств, что не страдают избытком достоверности. А выказывают их прежде всего ради того, чтобы заставить время идти так, словно оно никакой ценности не представляет. Собственное его время — остановилось.

Когда же он сомкнул глаза, к нему явились картины, вернее то, что он называл картинками, мрачные и ничуть не осложненные выразительными деталями, к нему явилось все утраченное, недостижимое... быстрой чередой промелькнули перед ним все комнаты его жизни — одна за другой, номера в отелях и тамошние лестницы, и запертые двери... комната за комнатой, и все — такие молчаливые...

Он попытался думать о людях, бродивших в воскресенье по пирсу, и о себе самом в центре этой толпы. «Беззаботный и приветливый день в прекрасную погоду! Люди не знали, кто я, это знал лишь единственный из них. Мне хотелось бы помочь ему, но все

стало так трудно объяснять, все, что я говорю, либо не принималось, либо отвергалось только потому, что было сказано старым человеком...»

Миссис Томпсон прибыла в «Батлер армс», никоим образом не подготовив к своему визиту мистера Томпсона. В один прекрасный день, стоя на веранде, она задала вопрос о своем муже, причем задала вопрос в манере, производившей впечатление, близкое к угрозе.

Миссис Томпсон была маленькой костлявой женщиной с острым взглядом темно-карих глаз, в парике. Ее манера опускать голову и тарашить глаза поверх очков вызывала беспокойство, казалось, будто очень маленький бычок раздумывает, не напасть ли ему на тебя?

Никто не сказал ей, что Томпсон пошел в бар Палмера, Тельма Томпсон села в ожидании на веранде и, достав вязание, скупно рассказала о своей поездке из Айовы, о злобном шофере, о грязной гостинице прямо против автобусной станции и в конце концов дала понять: чтобы узнать адрес Томпсона, ей понадобилось много лет.

— Подумать только, что все это время он был женат! — сказала Фрей.

А миссис Томпсон, посмотрев на нее поверх очков, фыркнула.

Пибоди становилось все страшнее и страшнее. Кому-то следовало предупредить его, ведь абсолютно необходимо подготовить беднягу к тому, что произошло. Внезапный шок мог обернуться чем-то опасным. Она энергично поднялась, объявив, что голодна, и миссис Томпсон, тотчас спрятав свое вязание, сказала, что ей тоже хочется есть. Они молча прошли в кафе «Сад». Оно было битком набито, а очередь к стойке тянулась от самых дверей. Очередь пенсионеров шаг за шагом продвигалась вперед. Невероятно медленно проталкивали они свои подносы на прилавке, выбирая среди блюд салаты и десерт. Сегодняшнее меню составляли почки, гамбургеры и колбаса.

Легендарно-старой миссис Бовари, стоявшей как раз перед ними, было трудно выбрать себе блюдо. У нее ужасающе тряслись руки и голова. «Бедная миссис Бовари, — думали Пибоди, — не следовало бы ей снова брать желе...» Но миссис Бовари все же взяла его, так как любила желе, и вот все оно перевалилось через край тарелки и упало вниз, смешавшись с почками. Она попыталась было выловить желе из почек и поднять его, но у нее ничего не получилось.

— Об этом позабочусь я, — сказала миссис Томпсон, протянув вперед длинную руку, но старушка прошипела: «Заботьтесь о своих собственных делах!»

И пошла дальше, но уже без желе.

— О, извините, — пробормотала в совершенной растерянности Пибоди и взяла тарелку с почками, хотя ненавидела это блюдо. Их очередь уже почти подошла к кассе, и она ждала лишь обычного происшествия с подносом миссис Бовари. Официант попытался было притянуть его к себе, но старая дева держала поднос обеими руками и сказала:

— Будь благословен, а я понесу почки сама. Неужели вы никогда не выучите, чего хочу я!

Негр усмехнулся, и они вдвоем понесли ее поднос с едой к ближайшему столику. Зрелище — всем на удивление!

— Вот как! Оказывается, нельзя нести свой поднос самой! — сказала миссис Томпсон.

— Нет, нельзя! А им надо дать чаевые, лучше держать их в руке наготове, ведь они торопятся, а если не успеешь, они пожимают плечами и считают тебя сквалыгой.

— Сущя чепуха! — произнесла миссис Томпсон.

Кафе «Сад» располагалось в большом красивом помещении, декорированном так, чтобы вызвать в памяти картины джунглей: изображения деревьев с плодами манго и множеством стелющихся по земле корней. С крон деревьев свисали змеи и обезьяны, а пальмы отступали от карнизов, венчающих крышу, чтобы расти дальше над их головой.

Художника, вероятно, воодушевил Силвер-Спринг, — сказала миссис Пибоди. — На будущей неделе мы поедем туда из пансионата «Батлер армс» и совершим путешествие в джунгли по реке. В Силвер-Спринге есть еще аквариум и ферма, где разводят змей. Вы в первый раз во Флориде?

— В первый и последний, — ответила миссис Томпсон.

Почки были ужасающе невкусны, почки не сочетались с желе и кофе с молоком.

— Извините, — произнесла Пибоди, — мне надо на минутку выйти.

На улице она почувствовала себя лучше. Томпсон сидел на своем обычном месте в баре Палмера, он спросил:

— Пибоди, хочешь кружку пива?

— Не сейчас, — ответила она. — Я пришла предупредить... У вас — визитерша-женщина. Она ищет вас и как раз сидит сейчас там, в кафе «Сад».

— Что за женщина? Какая еще женщина?

— Ваша собственная жена! — воскликнула, вытаращив глаза, Пибоди. — Она отыскала вас!

Одним-единственным движением соскользнул Томпсон со стула в баре... Однако, сделав шаг к двери в порыве бегства, снова вернулся. Он явно и откровенно перепугался.

— Будьте добры принести нам по стакану чего-нибудь крепкого, — попросила Пибоди.

Томпсон выпил свой стакан одним глотком, потом молча постоял, плотно сдвинув густые брови... Сейчас больше, чем когда-либо, он был похож на сердитую и напуганную обезьяну.

Пибоди, положив свою руку на руку Томпсона, слегка пожала ее в знак симпатии и поспешила обратно в «Сад».

Томпсон не вернулся в «Батлер армс». Позднее мисс Фрей позвонила в бар Палмера, но Томпсон давным-давно ушел оттуда. Тельма Томпсон стояла возле телефона и, глядя обвиняюще поверх очков, говорила:

— И чем же вы тогда занимаетесь? Вы что, не можете позвонить в другой кабак?!

— Это не я заставила его исчезнуть, — сердито отвечала Фрей. — И если есть необходимость куда-то звонить, то только в больницы.

— Несчастный случай?... — разразилась миссис Томпсон. — Но почему?! Он прекрасно существовал целых восемнадцать лет... восемнадцать лет ждала я этого дня, и вот в ту самую минуту, когда я являюсь, он исчезает. Он не мог уйти и где-то умереть, прежде чем я не поговорю с ним, он не мог сделать это намеренно!

— А он знал об этом? — спросила миссис Рубинстайн, окинув чрезвычайно долгим взглядом Пибоди.

— Нет, каким же образом? — задала встречный вопрос Пибоди. — Ну не ужасно ли это!

Она слушала, как Фрей звонила в одну больницу за другой, но в конце концов ушла в свою комнату и легла на кровать, закрывшись с головой одеялом.

Совість рисовала Пибоди длинную трагическую серию картин, какие могли случиться... возможно, он выпил слишком много пива и сломал себе шею, возможно, он бежал на первом попавшемся автобусе и бродил теперь по округе, в чужих безлюдных местах, без денег, далеко-далеко от всякой человеческой помощи... да — он ведь мог еще прыгнуть в море!

Она ведь не предупредила его насколько возможно щадяще, ей следовало бы вспомнить, что всегда лучше предоставлять возможность принимать решения другим и нельзя давать волю сочувствию. Пибоди вновь опростоволосилась, и не было никого на свете, кто мог бы разумно поговорить с ней.

Около пяти Фрей позвонила в полицию.

* * *

Между тем мистер Томпсон спал под густым кустом в городском парке. Куст напомнил ему заросли, где он часто прятался от мамы и ее сестры. Земля была теплой и сухой. Иногда он ненадолго просыпался и засыпал снова, долгие годы он не спал так хорошо!

Поздно вечером Томпсон вылез из-под куста, было тяжело подняться на ноги и почти невозможно снова выпрямить спину. Осторожно, с трудом преодолевая крохотные расстояния, заковылял он обратно в пансионат. Все огни были погашены.

Не торопясь, он открыл ящички своего бюро, потом чемодан и вытащил бумаги, удостоверявшие, заверявшие, подтверждавшие одно или другое и юридически, и статистически, и профессионально, и церковно, и вообще социально — все документы, включавшие Александра Томпсона в общество, где он обитает.

Он положил бумаги в открытый камин вестибюля.

Безопасности ради сидя на полу в темном помещении, он разодрал целую кучу женских газет и обрывки их скомкал, а потом поджег.

Томпсон не ведал, что очаг был просто декорацией без дымохода, а на самом деле — точной копией открытых английских каминов, которыми столь восхищались родители мисс Рутермер-Беркли. Вестибюль и лестничная клетка тотчас наполнились дымом.

Томпсон открыл дверь веранды, но дым клубящейся стеной продолжал подниматься по лестнице. Казалось, будто вся греховная жизнь Томпсона взывала к небу в дыму и духоте.

— Линда! — заорал Томпсон. Он забарабанил в ее дверь и заревел: — Линда! Я снова что-то натворил!

Линда и Джо выскочили в вестибюль, голые, озаренные красными отсветами огня.

— Тут нет никакой вьюшки! — объяснял Томпсон. — Я этого не знал! Я не знал, что никакой вьюшки нет!

Из глаз его потекли слезы, и он закашлялся.

— Это всего-навсего бумаги, — успокаивал его Джо. — Они быстро сгорят.

— Что он говорит, что говорит? — то и дело переспрашивал Линду Томпсон.

— Огонь скоро погаснет, все будет хорошо! Милый Джо, иди и ложись в постель, они могут испугаться, увидев тебя без одежды. Я проветрю дом наверху!

Линда накинула на себя платье, закрыв им голову, и поспешила вверх по лестнице. Коридор был полон едкого дыма. Открыв на бегу дверь угловой комнаты, она тихонько крикнула:

— Миссис Моррис! Разрешите открыть окно в вашей комнате? Дымоход не в порядке, и дым не выходит...

Над кроватью горел ночник.

— Пожар большой? — спросила Элизабет Моррис, укрытая простыней выше носа; зубы она сняла.

— Нет, очень маленький. Я думала, лучше всего проветрить дом здесь, у вас.

— Но почему у меня?

Линда, слегка улыбнувшись, ответила:

— Потому что вы такая спокойная. Я вернусь и закрою окно, когда внизу в очаге все выгорит.

— Пожар! — закричала на лестнице мисс Фрей. Крепко сцепившись в перила, она ринулась вниз, в переполненный дымом

вестибюль. Ключья сажи плавали в воздухе вокруг нее, словно летучие мыши, и там стоял Томпсон! Томпсон, со своим перекошенным лицом и взъерошенными в отсветах огня волосами, с кочергой в руке. Томпсон, еще более чем когда-либо, похожий на исчадие ада.

— Ужасный вы человек! — в страхе за него вскричала Фрей. — Где вы были?! Собираетесь сжечь нас всех вместе в доме?! Тут трезвонят в больницы и в полицию, а вы, оказывается, все это время живы! Что вы делаете, чем занимаетесь?!

Томпсон же глядел ей под ноги и объяснял, что никакой вьюшки нет, что у этого камина никакой вьюшки и не было, и как раз сегодня он, Томпсон, совершенно необычайно глух и не слышит, что она говорит.

— Но он, во всяком случае, жив, — прошептала Пибоди, — он жив, я не виновата...

Никто даже не подумал зажечь люстру, и горящий огонь превращал вестибюль в жуткое чужое помещение, а колонны отбрасывали трепещущие тени на стены.

— Глух... — самой себе повторила мисс Фрей. — Вы притворяетесь глухими, и вы притворяетесь немыми. Вы даже не знаете, как хорошо вам живется!

Она отворила дверь, ведущую на задний двор, и легкий сквозняк изгнал дым наружу — в ночь.

В восемь часов утра в «Батлер армс» вернулась миссис Томпсон. На ногах была одна Линда, она пылесосила вестибюль.

— Пришел он? — спросила миссис Томпсон.

— Да, — ответила Линда.

Тогда Тельма Томпсон уселась на веранде и вытащила свое вязание. Вид у нее был усталый, лицо превратилось в маленький замкнутый четырехугольник под париком. Сегодня она была молчалива. Постояльцы пансионата пошли завтракать и снова вернулись обратно, а она по-прежнему молчала. Все сидели друг рядом с другом в своих креслах-качалках, глядя на улицу и расположенный напротив «Приют дружбы».

Мистер Томпсон явился, когда было уже одиннадцать часов. Он был в своем черном костюме и при слуховом аппарате. Безо всяких колебаний прохромал он к жене и сказал:

— Тельма! Большой сюрприз видеть тебя в Сент-Питерсберге. Надеюсь, ты в добром здравии?!

Голос его очень изменился, такого голоса они у Томпсона прежде никогда не слышали.

— В добром здравии! — необычайно энергично произнесла Тельма Томпсон. — Мое здоровье — всего лишь то, что не интересовало тебя последние восемнадцать лет...

— Что ты сказала? — спросил Томпсон. — Я не расслышал.

— Восемнадцать лет тебе не было дела, как я себя чувствую!

Он покачал головой и повернул свое большое, поросшее волосами ухо к ней, и тогда она закричала:

— Ты сбежал от меня!

Она забыла про все на свете и, одержимая лишь своим гневом, воскликнула:

— Ты пустился в путь, оставив меня одну с собаками и садом, и ни много ни мало — в день юбилея, с тридцатью приглашенными гостями!

— Что говорит моя жена? — огорченно спросил Томпсон. — Какая-то неприятность?..

Миссис Рубинстайн заметила, что гостиная в распоряжении супругов Томпсон, если им необходимо обсудить личные вопросы.

— Обсудить! — разразилась, дрожа, Тельма Томпсон. — Ведь с ним обсуждать что-либо невозможно!

— Кажется, я смогу вам помочь, — предложила миссис Моррис. — Давайте запишем, что вы и что он собираетесь сказать друг другу. Это очень хороший способ. Что мне записать?

Миссис Томпсон рассерженно взглянула на блокнот, лежавший на коленях миссис Моррис.

— Идиотство! — изрекла она. — Пишите: «Ты оставил меня, не сказав ни слова. Почему?»

Томпсон надел очки и прочитал, а затем сказал:

— Я просто устал. Я оставил письмо, где было сказано: «Я устал».

— А дальше? — спросила миссис Моррис.

— Так не годится, — решила миссис Томпсон. — Никакой настоящей беседы не получится.

Миссис Хиггинс, наклонившись вперед, спросила:

— Вы его любили? Тогда, восемнадцать лет тому назад?

— Нет. Не любила!

— Тогда... Любите ли вы его теперь? Тельма Томпсон рассмеялась.

— Оставьте!.. — сказала она.

— Но чего же вы хотите?

А то, чего она хотела, то, чего желала, — это наконец высказаться и расквитаться с ним, она желала увидеть, что осталось от него после всех этих восемнадцати лет. Она желала узнать, стыдится ли он, раскаивается ли он... И какова ее вина, почему он бросил на нее весь их дом... и нашел ли в жизни нечто важное, чего она не понимала... Как могла миссис Моррис спрашивать, чего она хочет! Как могла она знать?.. Найти его было трудно, почти невозможно, да и дорого к тому же, но постепенно она не смогла уже больше думать ни о чем другом, кроме как найти его и поговорить. Да... говорить с ним часами, целыми днями, а потом, когда все было бы сказано и все стало бы ясно и со всем покончено... и тогда наконец-то настала бы мирная, спокойная жизнь!

— Что написать? — спросила Элизабет Моррис. Тельма Томпсон поднялась и воскликнула:

— Напишите, что никто не может говорить с тем, кто никогда не отвечает, напишите, что есть люди, которые не терпят дурного запаха и того, что в доме никогда не бывает чисто, напишите, что добрые друзья лучше злых и интеллигентных! Пишите что хотите, вы... пишите хоть целый год, но вы даже половины не напишете!

Она ринулась вперед и помчалась по веранде с вязаньем в руках. «Прочь отсюда, в отель, в автобус, в Айову!» Лицо ее покрылось красными пятнами, и она заплакала.

— Тельма, — произнес Томпсон, схватив ее за полу плаща. — Тельма Томпсон! Сейчас ты уйдешь, и мы больше никогда не увидимся, а я не слыхал ни слова из того, что ты сказала. Я расстроен. Я очень расстроен. Поверь мне, я был невозможен от начала до конца...

Какой-то миг жена Томпсона постояла молча, не глядя на него. Затем решительно спустилась вниз, на улицу, и на веранде еще довольно долго слышались ее шаги.

Никто не проронил ни слова. Миссис Моррис рисовала большие круги в своем блокноте — один пустой круг за другим, длинные ряды кругов...

После появления Тельмы Томпсон кресло-качалка Томпсона опустела, он читал лишь в своей комнате, далекий даже от ограниченного мира других.

День за днем, читая книгу за книгой, он все больше убеждался в том, что Тельма нарушила остроту его комментариев и уничтожила его непосредственную радость от чтения книг. В своей невероятно наивной простоте они не были больше достойны его иронии.

Давным-давно отринутые воспоминания вернулись к нему, терзая его память, а по ночам неизлечимо опустошающие кошмары уничтожали и сон. Томпсону снилось, что дом сгорел, что это он сжег весь дом, а упрекавших его обугленных женщин вытаскивали из золы. Рыдающие, сетующие женщины бродили в кустах за его окном, прижимая лицо к стеклу. Они бежали за ним по улице, он слышал, как приближается стук их каблуков, они так и кишели повсюду! А дом сгорал каждую ночь.

Он наливал воду в банку с окурками сигарет, но и это не помогало. Пока он направлялся к бару Палмера или мирно сидел за своим бокалом пива, этого несчастного человека могло внезапно обуять сомнение, и он спешил обратно, чтобы удостовериться: его комната не горит. Несколько раз проходил он в саду мимо Юхансона, не отрывая глаз от земли. Однажды Юхансон остановился и спросил:

— Мистер Томпсон? Как поживаете? Вам ничего не надо взять у меня сегодня?

Но Томпсон только отпрянул назад и прошел мимо.

Большей частью он сидел у своего окна, затененного огромными зелеными листьями; раннее лето грянуло в своем полном расцвете, и зелень заполонила и защитила всю его комнату. Томпсон придумал новую игру, его мир был ныне джунглями. Джунгли за его окном становились все гуще, и все гуще и гуще. Он дозволил их неистово-яростной растительности обрушиться на весь Сент-Питерсберг. Выющиеся растения незаметно вползали на каждую веранду, смягчали и приглушали всякие звуки, заставляя останавливаться кресла-качалки. Непроходимые джунгли все разрастались, заполняя город.

Внутри обезлюдевших домов и вдоль заросших улиц крались хищные звери, дикие и неисчислимые — тигрицы и самки шимпанзе — от них невозможно было избавиться, невозможно запереться в своем доме, невозможно понять...

Представление о том, что мир — это джунгли, утешало Томпсона, и мало-помалу дом — в его воображении — переставал гореть. Иногда на лестнице, в дверях, он мог даже выплеснуть обвинение:

— Пибоди, — спрашивал он, — ты-то живешь честно?

Он пугал мисс Фрей:

— Хи, хи, галантная старперша! Ты знаешь, зачем живешь?

А миссис Рубинстайн он однажды сказал:

— Вы — монумент! Вы давным-давно умерли, а теперь стали монументом, памятником самой себе.

Она стояла с сигаретой в руке, глядя на него своими черными глазами под тяжелыми, окрашенными в сливочный цвет веками, и наконец ответила:

— Меня радует, что вы преодолели самое худшее в жизни... Вообще-то, последние тридцать лет я тоже ощущала свою монументальность.

Томпсон загоготал и отправился дальше в свои джунгли.

Ханна Хиггинс плела для простыни широкую кружевную отделку с узором из роз.

— Дорогая Элизабет, — сказала она. — Я часто думала о визите Тельмы Томпсон. Как мало семейств, где муж с женой могли бы жить в радости друг с другом! Я каждый день благодарю Бога за то, что мне даровано быть вместе с моими близкими!

— Но они ведь довольно далеко отсюда, — ответила Элизабет Моррис.

— Вместе можно быть и не встречаясь, — объяснила миссис Хиггинс. — Ты, что так умна, знаешь это достаточно хорошо.

Они сидели на скамье в городском парке в довольно ранний час. Утром здесь было лучше всего, позднее же — слишкомлюдно.

— Я получила песню, — рассказывала Ханна Хиггинс. — Мой внук-трубач прислал мне колыбельную.

Открыв сумку, она показала его письмо.

— Посмотрите, как красиво он записывает ноты. Они — точь-в-точь птицы на ветке.

Элизабет Моррис прочитала ноты и сказала, что музыка хороша и очень самобытна.

Миссис Хиггинс залилась краской.

— Господи Боже мой, — сказала она, — как удивительно красиво! Здесь сидишь ты и читаешь музыкальную грамоту, как другой читает газету. Ты и играть умеешь?

— Я сыграю тебе эту песню вечером.

Миссис Хиггинс откинулась на спинку скамейки и скрестила руки на своем округлом животике. Она смеялась, вся отдавшись глубокой гармонии, воцарившейся в ее душе. Гармонии с тем порядком вещей, который всегда выпадает на долю лучших.

— Здесь слишком жарко, — сказала миссис Моррис и встала, почему-то испытывая внезапное раздражение.

Старинное пианино, выкрашенное, как и все в вестибюле, в белый цвет, было закрыто шелковой шалью.

— Оно плохо настроено! — сказала Элизабет Моррис.

— Да, — кивнула миссис Хиггинс, — но это неважно.

— Неважно? — резким голосом спросила миссис Моррис. — Неважно, что пианино плохо настроено?

Ханна Хиггинс, опустив глаза, заметила, что сморозила глупость, ведь она все время совершает ошибки, не понимая, что важно для других людей.

— Садись и слушай! — прервала ее Элизабет Моррис. — Я сыграю твою песню как мелодию — совсем просто.

Пианино было своего рода исторической достопримечательностью начала века. Звуки прорывались с трудом, тонкие и отрывистые, а внутри старинного неухоженного инструмента, словно в музыкальной шкатулке, гудели струны.

Она прислушивалась, плененная давным-давно забытой формой музыкального произведения, выразившего совсем иную полноту чувств, а потом сказала:

— Внимание! Сейчас ты услышишь песню как музыкальную пьесу. А потом я сыграю ее как вальс.

Ханна Хиггинс промолчала.

В конце концов Элизабет Моррис сыграла мелодию как салонную музыку в стиле джаз-рока: та-ти-та, и тут пианино очнулось и выдало ей даже больше, чем она ожидала. Мнимо спотыкающаяся, заикающаяся, хрупкая, готова лопнуть, словно струна, лихо и строго соблюдающая ритм песня, убаюкивая, колыхалась над «Батлер армс»: та-ти-та — прозрачная как вода и независимо-суверенная в своей простоте.

Внезапно и резко Элизабет прервала игру и повернулась на стуле.

— Какой вариант понравился тебе больше всего?

— Первый и последний, — прошептала Ханна Хиггинс. — Какая ты, должно быть, счастливая!

Мисс Фрей и Пибоди, стоя на лестнице, заплодировали. Миссис Рубинстайн не шевельнулась. Она единственная здесь, в пансионате, понимала, что Элизабет Моррис была незаурядной пианисткой.

— Honky tonk^[26], — закричала Пибоди. — О, будь так добра!

Тогда миссис Моррис продолжила игру, одинокая в своей собственной — знаменитой и прославленной — душе, оцененной многими за ее спотыкающиеся интонации, рваные ритмы и гениальную ошибочность.

Три старенькие дамы из «Приюта дружбы» пересекли дорогу, чтобы послушать; никто их имен не знал.

Мисс Рутермер-Беркли позвонила в колокольчик у изголовья своей кровати.

— Линда, дитя мое! — сказала она. — Открой дверь, я хочу послушать музыку. Наши дамы внизу танцуют?

— Да. — ответила Линда.

— Тогда, будь добра, подвинь соломенные стулья, чтобы освободить побольше места.

Миссис Моррис играла весь вечер. На улице толпилось множество людей, слушавших музыку. А над ними колыхались и парили звуки, свежие, словно весенняя зелень, и напоенные горестной чистотой и радостью, звуки, осторожно погружающие в угловатые, насыщенные диссонансами темы, уходящие корнями в нью-орлеанский джаз, ведь Нью-Орлеан считается родиной джаза.

А люди танцевали и на улице.

Почувствовав, что все устали, миссис Моррис перешла к своим собственным, сочиненным ею музыкальным произведениям из старых фильмов

с их неопределенно-спокойным фоном, лишь избавляющим от тишины. Она не скупилась на время. Потом дошла и до «Sun Glory»^[27] — школьной песни, испытанной и надежной.

Все подошли к пианистке, сгрудившись за ее спиной и окружив пианино, словно в Молельном зале как раз перед самыми летними отпусками или каникулами. Они запели хором.

Миссис Рубинстайн подумала: «Какая великолепная организованность».

Они спели все куплеты.

Так позволяют зажженной искре погрузиться в отдых и покой. Так же, как в любви, упоение не оставляют в одиночестве, но вводят его в тихую гавань.

Когда песня была спета, миссис Моррис закрыла пианино и постелила сверху шелковую шаль. Три дамы из «Приюта дружбы» поблагодарили ее за музыкальный вечер и отправились обратно в свой пансионат.

Назавтра они встретились на лестнице, и Пибоди разразилась речью:

— Миссис Моррис, я так рада, что вы наконец-то нашли себе хобби!

— Хобби?

— Да! Игра на пианино. Я так огорчилась из-за вас. Ведь надо же все-таки чем-то заниматься... А если, кроме того, приносишь еще и пользу, это куда лучше!

Мышка смущенно улыбнулась всеми своими многочисленными мелкими зубками. Элизабет Моррис не спускала глаз с Пибоди, очки на ней сегодня были темные. Она изрекла:

— Мисс Пибоди, ваша забота обо мне — невероятна! — И стала подниматься наверх в свою комнату.

На ночном столике стояли только что сорванные цветы.

Линда сказала:

— На этот раз цветы наши собственные, они выросли у нас, а распустились ночью.

В «Батлер армс» в вопросе о цветах придерживались стародавнего обычая: искусственные букеты стояли только в вестибюле.

— Миссис Моррис, — продолжала Линда. — Могу я поговорить с вами о Джо?

— Разумеется, — ответила миссис Моррис.

Тогда Линда объяснила, что Джо не был счастлив. Деятели из общества «Дети Иисуса» письма ему так и не прислали, хотя и было обещано. Иисус мог явиться в любое время, и для Джо чрезвычайно важно быть вместе с «Детьми Иисуса» в тот момент. Джо не мог ждать в одиночестве. Ему нужно жить наподобие первых христиан и делиться всем, кроме мотоциклета, и успеть воспылать чувствами прежде, чем Иисус явится. Время не терпит. Надо торопиться.

— Но, мое дорогое дитя, — сказала миссис Моррис, сняв очки и сев на кровати. — Почему они ему не пишут? Это разве его друзья?

— Нет! Он всего лишь однажды поговорил с ними на улице в Майами. Они обещали написать. Он видел, что они танцевали. Никто из них больше не работает, поскольку Иисус может явиться когда угодно.

Миссис Моррис сочла, что Джо следовало бы отыскать этих людей. Но он не может — письмо было знаком, и ему необходимо ждать, пока оно не придет.

— Так непрактично, — решила она. — Так огорчительно!

Помолчав, она спросила:

— По-твоему, эти люди могут быть полезны Джо?

— Не знаю!

— А если он разочаруется?

— Ему нельзя разочароваться, — ответила Линда. — Он этого не вынесет.

— А ты сама?

— Я передала все это в руки Мадонны. Элизабет вздохнула.

— В таком случае, — вымолвила она, — то, что я могу сказать, — не так уж важно.

Когда же Линда открыла дверь, чтобы уйти, она добавила:

— Не беспокойся! В большинстве своем все обычно встает на свои места, стоит только подождать.

— Именно это я и хотела услышать, — улыбаясь, ответила Линда. — Мадонна устраивает все наилучшим образом, а когда ждешь, ощущаешь такое одиночество.

В понедельник Тим Теллертон пошел в универмаг «Мейси» и купил подарочную книгу с иллюстрациями на плянцовой бумаге. Книга называлась «С пустыми руками», и речь в ней шла о великих мужах, начинавших абсолютно с нуля, с пустого места.

«От Тима Теллертона с дружеским приветом», — гласила надпись на книге.

Музей на борту «Баунти» был в понедельник закрыт.

— Попробуйте найти Джо в плавательном бассейне, — посоветовали ему на бензоколонке.

Берег на юге пересекал целое песчаное поле и длинные зеленые откосы площадки для игры в гольф. Тим шел не спеша. Свежесть утра и бесконечное пустынное побережье подарили ему чувство ожидания.

Сегодня море не приносило никаких волн, но постоянно бурлил прибой, а на суше — в отдалении — раскинулась отдаленная же череда белых спящих домов. Теллертон подошел к бассейну: окруженный мраморными террасами и длинными аркадами, он стоял под открытым небом близ моря.

Иные дни могут отличаться особой чистотой, поразительной яркостью всех красок... этот день был одним из таких. Вдали рядом с мотоциклом «хонда», принадлежавшим Джо, раскинулся длинный ряд блестящих велосипедов, сверкавших на солнце и напоминавших многокрасочных насекомых, приготовившихся к полету.

Бассейн был столь же красив, как и все плавательные бассейны, с зеленовато-прозрачной водой, подернутой мелкими островерхими волнами и набитой кричащими детьми. На мелководной его стороне вдоль самого края с серьезным видом плавали несколько пенсионеров. Баунти-Джо все время нырял; раз за разом взбирался он на самый высокий трамплин и долго стоял там в ожидании, затем, собравшись с силами, опять и опять нырял.

Теллертон купил в киоске газету и сел в тени под аркадами, все столики были пусты. С редкостным предчувствием мира и покоя он снова и снова прислушивался к крикам играющих детей, к этим

тоненьким птичьим крикам радости да брызгам и плеску воды, к миру прохлады и отдаленности, частицы самого утра.

Джо подошел к нему и сказал:

— Привет, алоха! Я тренируюсь, ныряю с самого высокого трамплина.

— Зачем? — спросил Теллертон. — Для участия в соревнованиях?

— Нет, мне просто нравится нырять. Книга лежала на мраморной столешнице, и Теллертон сказал:

— Она для вас. Я проходил мимо универмага, увидел ее и подумал, что вам она может пригодиться.

— Но почему вы должны мне ее дарить?

— Иногда, — ответил Теллертон, — иногда нет никакого повода для того, что делаешь, и поступаешь импульсивно.

— Разумеется! — согласился Джо. Он был смущен. — Вы добры ко мне. А вы не выйдете на солнце?

— Право, не знаю, — ответил Тим Теллертон, — я ведь не знаю также, заинтересованы ли вы в автографах. Но я захватил с собой несколько самых обычных для ваших друзей.

Автографы были небольшие, красиво написанные на кремового цвета картоне; их была целая пачка.

— Но у меня такие мокрые руки, — посетовал Баунти-Джо.

— Вам по душе служба на «Баунти»?

— Да, работа там легкая и приятная.

— Вас интересуют корабли?

— Да, они красивы!

— Как получилось, что вы знали, кто я?

— Ну да, это я довольно хорошо знал, — пробормотал Баунти-Джо, обхватив себя руками.

В нем все возматало какое-то недовольство. Он сделал шаг назад, по направлению к бассейну.

Тим Теллертон поднялся, одержимый нетерпением, присущим усталости. Свернув газету, он понял, что больше не владеет тем терпением, которое необходимо, той силой, что нужна, дабы справиться с мыслями и сформулировать их с целью провести плодотворную беседу со щенками или с юными дельфинами. Он повернулся к двери, желая уйти. Что такое беседа, что заключается в

ней? Общее размышление о весьма существенных вещах. Передача опыта и собственных воспоминаний, размышления о возможном будущем. Уточнение и совместное узнавание, а также наблюдение за переменами во взгляде, в интонации, в молчании, обусловленном колебанием, либо же — взаимопониманием. Формирование воззрений без постороннего воздействия. Смех, дабы иметь возможность помолчать по причине взаимной, никогда не высказанной робости.

Джо проводил Теллертон до выхода.

— Это, верно, замечательная книга о людях, что в старые времена поднялись на вершины в нашем мире.

— В старые времена? — повторил Теллертон и посмотрел прямо в лицо Джо.

Глаза певца сверкали, словно драгоценные синие камни.

— В старые времена! Самые молодые из них старше тебя лет на десять!

— Десять лет! — воскликнул Джо и усмехнулся. — Десять лет! Это же нескончаемое время, эпоха, бездна! Сколько всего случилось с тех пор!

— У тебя никогда не возникало желания стать кораблестроителем, капитаном, капитаном дальнего плавания?

Джо покачал головой огорченно и очень мило.

— Тебе не завоевать тогда почетного венца на голову за всю свою жизнь!

Джо терпеливо ответил, что старикам это нравилось, мысли о Таити вызывали у них одобрение.

— Алоха! — воскликнул Тим Теллертон, буквально выплюнув с презрением это мягкозвучное слово, и круто повернулся, чтобы уйти.

«А теперь он расстроится, — подумал Джо. — Я сказал вовсе не то, что он ожидал от меня услышать. Частенько трудно бывает со стариканами».

Доброе отношение к старым людям входило в служебные обязанности Джо, и он был очень хорошего мнения о них, большей частью они довольствовались совсем малым. Единственным недостатком в случае с Теллертоном было то, что он еще по-настоящему не состарился и по-прежнему шумел о вещах, которых не понимал. Если бы они только знали! Если б они только уразумели, что время их вышло и что весь их уничтоженный мир был уже вовсе не

важен, а о том, чтобы кем-то стать, что-то делать и чем-то владеть, вопрос больше не стоял.

Внезапно Джо охватила ярость при мысли о людях Иисуса, которые не прислали ему письма. Оно было для него призывом к старту, тогда бы он знал, как поступить! Тогда бы он мог крикнуть им всем, что то, прежнее, время кончилось! Он — явится! Он, Иисус! А он, Баунти-Джо, будет носить это блистательное имя на мотоцикле, на своей одежде, выдержанной в оранжевых, зеленых и фиолетовых тонах, носить так, что имя Иисуса засверкает, когда он вынырнет у горы в Майами.

Будто на мачту корабля, взобрался Джо на самый высокий трамплин и заревел: «Алоха!» И прыгнул вниз. Однако то вышел скверный прыжок, прыжок, едва не сломавший ему спину.

Иногда по вечерам Элизабет Моррис играла на пианино, и дамы в «Приюте дружбы» перешли на танцы друг с дружкой. Теллертон не возвращался, но случилось, что некий одинокий странник поднимался на веранду — послушать музыку или останавливался у калитки, прежде чем продолжить свой недолгий путь.

Однажды вечером в вестибюле появился какой-то длинный тощий человек, назвавшийся Мак-Кенци и сказавший, что он родом из Шотландии. Музыка привлекла его, она такая веселая!

— Продолжайте играть, не обращайтесь на меня внимания.

Мак-Кенци не хотел садиться, стоя посреди вестибюля, он говорил, что остановился в этом городе только на ночь, на одну-единственную ночь, чтобы затем продолжить путь на полуостров Юкатан, в Мексику, ведь туда он стремился всю свою жизнь.

Постояльцы, сидевшие на своих плетеных стульях, смотрели на Мак-Кенци, а миссис Моррис продолжала играть, но очень тихо, почти беззвучно.

— Достопочтенные дамы, я стар, и если не поеду в Мексику теперь, то не поеду уже никогда.

Мак-Кенци был как-то неопределенно робок, и каждое его движение сопровождалось своего рода неуверенной медлительностью, так, словно вся его тощая длинная фигура могла в любой миг свернуться в клубок и рухнуть, а улыбка его, улыбка ожидания, обладала точно такой же хрупкостью, как и он сам. Казалось, будто он всю свою жизнь извиняется за то, что живет на свете.

Да, Юкатан, по его словам, страна — абсолютно непроходимая. И понимать язык ее жителей — трудно. Но они любят музыку. И к тому же обладают ярким темпераментом.

— Мистер Мак-Кенци, — произнесла со своего плетеного стула миссис Рубинстайн.

— Надеюсь, речь идет о туристической поездке?

— Нет, нет! — живо ответил он. — Я еду один.

— В Юкатан?

— Ненадолго, лишь на то время, чтобы пройти через настоящие джунгли. Об Юкатане я перечитал все, что есть.

— Там очень жарко, — сказала миссис Рубинстайн. — Жители злы, да и в джунглях никакие автобусы не ходят.

— Знаю, — почти застенчиво ответил Мак-Кенци. — Это ужасно. Но если я не совершу такое путешествие сейчас, оно не состоится никогда.

Мисс Фрей спросила, не желает ли он присесть и выпить стакан кока-колы, но он не захотел, ведь он просто проходил мимо.

— Как жаль, что вы не сможете остаться в Сент-Питерсберге подольше, — сказала мисс Пибоди, — это такой красивый город!

Сидя на стуле, трудно было заглянуть ему в лицо, уж слишком он был высокорослым.

— Нет, нет, — сказал он, — я не могу потерять ни одного-единственного дня. — И он поочередно улыбнулся им всем.

— Сколько времени вы пробудете в Мексике? — спросила мисс Фрей.

Но он только улыбнулся в ответ.

Миссис Моррис заиграла шотландскую балладу, она хотела помочь развлечь общество. Мак-Кенци с испуганным лицом прислушался, а потом внезапно запел, взяв слишком высокую октаву. При всей стремительности взлета, в голосе его ощущалась такая же хрупкая неуверенность, какая, видимо, отличала его характер вообще.

Песня была очень длинная, а прекрасные ее слова говорили большей частью о язычниках, тумане и о парусе судна, которое так никогда и не вернулось...

Всякий раз, когда он приближался к рефрену, дамы, затаив дыхание, смотрели вниз, в пол. После последнего рефрена весь вестибюль зааплодировал.

— Шотландия! — воскликнула мисс Пибоди. — Язычники! Должно быть, там чудесно!

— Там all right! — ответил Мак-Кенци.

«Он чуть не плачет, — сердито подумала миссис Моррис и заиграла новую балладу, а он тотчас снова запел. — Они все одинаковы. Выпевают из своей души свою же географическую отдаленность от мест, где родились, от точки на карте, откуда им никогда не уйти. Столь сильно чувство и столь мало дарование! Текст

варьируется не очень... тысяча миль от родного дома, поезд гудит вдаль, зеленая трава там же — дома, там же — дома — длинные-предлинные степи...»

Она помогла преодолеть самое трудное место с мелкими пассажирами, но, когда его голос выдерживал, игра ее звучала словно шепот. «Сегодня — Шотландия. Завтра — рыдания немцев. Или кого-то из Иллинойса, из Каролины, да кого угодно, не из Сент-Питерсберга».

Один лишь раз ее слушатели вкусили неясные обращения к ним в окружающем мраке. Лица их — светлые пятна, аплодисменты их катились ей навстречу, словно морские буруны. Постепенно они подходили все ближе, ближе, пока не очутились вплотную за ее спиной. Хотя слушатели редко замечали, какую музыку она играет, прежде чем она не остановится.

Мак-Кенци снова достались аплодисменты. Элизабет Моррис опустила руки, и совершенно внезапно и безнадежно ее охватила непростительно сокрушающая тоска по дому.

Тут же, после последней из исполненных баллад, он, сопровождаемый роем пожеланий благополучия, простился и ушел. И никто никогда ничего больше о нем не слышал.

Ранним утром Тим Теллертон обычно держал путь по заросшим травянистым полям к плавательному бассейну и прохладным аркадам. Иногда он читал газету, но большей частью спокойно сидел, слушая крики детей и непрерывный шум воды в бассейне. Несколько раз, когда Баунти-Джо приходил туда, он вставал, чтобы уйти, поднимал руку для рассеянного приветствия и возвращался тем же путем в город.

Однажды утром Джо подошел к его столику и рассказал, что теперь он одолел самый высокий трамплин.

— Приятно слышать! — ответил Теллертон. Джо подбежал к трамплину и вскарабкался наверх.

— А ну, держитесь подальше! — крикнул он юнцам, барахтавшимся в бассейне.

Напряженное ожидание свело его плечи, и он слишком долго ждал, прежде чем нырнуть. Но надежда на разговор не оправдалась. Подплыв обратно к лестнице, он увидел, что под аркадой уже никого нет.

Назавтра Джо подошел к Теллертону и сказал, что книгу прочитал и что она ему не понравилась.

— Почему? Плохо написана?

— Не знаю. Не понравилась.

— Что, там не нашлось никого, умеющего нырять?

Джо нахмурился.

— Вы хотите рассердить меня, — сказал он. — Я хочу знать, почему вы сердите меня?

— Чтобы подразнить, — в порыве откровенного дружелюбия признался Теллертон. — Что, тебя нельзя подразнить? Тебя — нельзя?

Какое-то мгновение Джо разглядывал его, а потом засмеялся.

— Классно! — воскликнул он. — Никто из знаменитостей нырять не мог — больно уж они стали старыми, да и жиром заплыли! Они так никогда и не выучились нырять, ведь они только и делали, что вкалывали, хотели стать знаменитостями, а когда уже их перестали узнавать, пошли в ныряльщики. Но уж больно запоздали!

Он, напевая вполголоса «Я дразню тебя, я дразню тебя», обошел столик Теллертона, прыгнул в воду и, работая руками, поплыл, как сумасшедший, наискосок и обратно.

Даже поднявшись вверх по лестнице, он продолжал смеяться. Как прекрасно было смеяться вновь! Обессиленный и какой-то беспомощный от веселья, он, обхватив колени руками, раскачивался взад-вперед.

Между Тимом Теллертоном и Баунти-Джо возникла дружба, безоблачная и уважительная, они развлекали друг друга, перебрасываясь, как мячом, простыми словами. Джо нравились их краткие встречи, у него вошло в обыкновение, стоя возле Теллертона, болтать обо всем, что только приходило в голову. Частенько их беседа напоминала игру, в которой не дозволялось оскорблять другого. Джо пытался веселиться, пытался понравиться Теллертону своими по-детски обезоруживающими репликами. Иногда он бывал раздражителен, а уставая, нырял все лучше и лучше.

Каждый красивый прыжок был своего рода выигрышем по очкам, и Джо засчитывал эти очки им обоим. Беседовать с Теллертоном было все равно? что бросать монету на вращающийся круг для игры в рулетку, в кладезь мечты, и вовсе не для того, чтобы повезло, а в шутку. Ведь с Теллертоном никогда нельзя было ничего предугадать. Старый человек, он выказывал уважение к Джо, он не ныл, не надоедал ему, но мог впасть в ярость буквально из-за пустяка. Его старость была просто ошибочна, непонятна. У Джо когда-то была кошка, шестнадцати лет от отроду, совсем древняя кошка, но, набравшись хоть каплю терпения, можно было заставить ее играть и гоняться кругом за собственным хвостом. Но когда она злилась, приходилось держать ухо востро и остерегаться ее.

Тим Теллертон полагал, что всякий раз, когда они с Джо встречались, оставалось все меньше и меньше возможности помочь юноше, но все же не осмеливался говорить с ним всерьез. Теллертону хотелось сохранить для себя в целостности свой утренний ландшафт, свое странствие по траве, прохладную гладь — мир зеленоватой воды и легкость игривых слов. Сохранить всю безоблачность, спокойствие и умиротворенность.

Однажды вечером, когда он шел вдоль берега, рядом с ним внезапно возник Баунти-Джо на своем мотоцикле.

— Привет, алоха! — воскликнул Джо, слезая с мотоцикла, и уже сам повел его дальше.

— На следующей неделе я возьму машину и поеду в Силвер-Спринг, возьму утром, пока нет таких пробок, — сказал он. — Посмотрите-ка на мотоцикл, он заново отлакирован.

Они стали рассматривать большую блестящую машину, мягко катившуюся в руках Джо.

— Машина красива! — похвалил Теллертон.

— Марки «хонда семьдесят один», — пояснил Джо.

— Ты любишь машины?

— Да, люблю!

— А ты знаешь их, знаешь, как они работают?

— Про свою я знаю все, — презрительно ответил Джо.

— Но она не единственная, весь мир полон очаровательных машин, ты бы мог изучать их, создавать свои собственные модели...

— Ты что, опять за свое! — воскликнул Джо. — Создавать! Стать! Я не хочу стать! Я хочу быть! Вы говорите о времени, которое давным-давно миновало, и все эти слова «стать», и «создавать», и «владеть» уже ничегошеньки не значат!

— Ты владеешь мотоциклом, — резко произнес Теллертон.

Остановившись, Джо сказал:

— Посмотрите на мою машину! «Хондой» владеть нельзя. Разве можно владеть ста восьмьюдесятью километрами в час? Быстрота, скорость...это тебе не собственность! Разве ты владеешь гитарой, разве можешь владеть музыкой, ведь это идиотство... Нет, вы все владеете совершенно по-другому!

— Кто — мы?

— Вы, те, кто больно долго продолжает заниматься своим делом! Послушайте теперь, что я скажу. — Понизив голос, Джо терпеливо продолжал: — Вы знаете, что я имею в виду. Вы коллекционируете... коллекционируете... восхищение, и знатные титулы, и более высокую плату за работу, да и вещи — тоже. Ковры, целиком покрывающие пол. То, что сами знамениты! Свою славу! И все время вы только и делаете, что тратите время, жуткую уйму времени.

Тим Теллертон не ответил. Ведя свой мотоцикл, Джо попытался объяснить:

— Всеми этому теперь конец, и точка. Тому, что называется амбицией и позицией, — конец! Попробуйте теперь понять, о чем я говорю: все это больше не годится. Вы сделали мир ужасным, жить в нем нельзя...

Теллертон прервал его:

— Все это мне знакомо. Я слышал это и раньше. Сердце его заколотилось; стараясь идти очень медленно, он попытался взять себя в руки.

— А когда ты ныряешь? Разве ты не гордишься, если тебе сопутствует удача, разве не желаешь, чтобы тобой восхищались?

— Это не одно и то же! — вскричал Джо, — нырять — это другое, нырять для меня — все равно что быть, все равно что жить!.. Просто прыгаешь в воду. Не будьте смешны!

— В маленьком пруду, в бассейне... — заметил Теллертон, — ты прячешься в маленьком пруду и разглагольствуешь, что мир уничтожен, а также полагаешь, что цветы в волосах будут тебе к лицу до самой смерти!

Все это было ошибкой. Ему надлежало сохранять спокойствие. Именно теперь он был вынужден говорить с Джо, вынужден собрать все самое лучшее из своего знания жизни, все, во что верил, и попытаться заставить юношу пробудиться... Говорить обо всех головокружительных возможностях и о беспомощности, когда все уже минуло и осталось позади, о нерушимой жажде жизни, всегда достойной трудностей, что переживаешь сам в своей душе, о желании придать жизни форму, цель и выражение, говорить о постоянных новых трамплинах триумфа, о грандиозных ошибках, о колоссальных сюрпризах... Обо всем в пределах понимания и о возможности объять необъятное, прежде чем постепенно исчезающая сила превратит запоздалое намерение в ничто.

Как жаль, что уже успело за вечереть, а он устал. Им следовало бы встретиться утром. Чрезвычайно взволнованный, Тим Теллертон объяснил Джо:

— Мир не уничтожен! Он еще существует! Возможно, жить в нем стало труднее, тем не менее он существует...

Джо снова прервал его:

— А что осталось у вас? Неужто так приятно быть знаменитым?!

Он увидел, что Теллертон побледнел от гнева, и испугался; Джо хотелось теперь лишь уйти, убраться, умчаться прочь, словно сатана, оставляя все прежнее позади. Тим Теллертон сказал:

— Раздобудь мне такси!

— Простите меня! — воскликнул Джо. — Простите меня, я был глуп, я наговорил нынче столько глупостей... Это всего лишь из-за того, что мне не пишут... я все время жду, а они все равно не пишут, времени же осталось так мало!

Он бросился к мотоциклу и помчался по направлению к городу.

Мотоцикл Джо проследовал за такси обратно к набережной, где, держа открытой дверцу машины, ждал его Теллертон.

Тим Теллертон спросил:

— Кто тебе не пишет?

— Всего лишь одно письмо, оно должно прийти в бар Палмера.

Теллертон повторил:

— Кто тебе не пишет?

— Дети Иисуса! — воскликнул Джо. — Иисус может вернуться теперь в любую минуту, они обещали, что мы будем вместе, когда он явится!

Тим Теллертон сел в машину, и Джо закрыл дверцу. Они вернулись в «Приют дружбы», и всю дорогу Джо ехал прямо впереди такси. Он эскортировал своего друга с почетом, каким удостоивают в государстве человека, указующего жизненный путь, по которому уже тот сам двигаться перестал.

Вытянувшись в кровати, Джо сказал:

— Он чудо! Он так ужасно напрягается только ради меня!

Линда ответила:

— Он любит тебя. Ты должен прислушиваться к нему, попытаться его понять. Иногда старый человек произносит очень уж мудреные, но мудрые слова.

Свет погасили. Вскоре он почувствовал: она спит. Он слышал, как прибой в Майами все ближе и ближе подходит к берегу.

На этой самой неделе окрестили пятьсот человек. Пройдя тогда по песку в воду, он, покрытый морской пеной и пронизанный звуками музыки, перешел вброд мелководе. Сотня гитар играла на горе.

— Я назвал имя Твое, я свершил это в конце концов, Иисус, — шептал все снова и снова Джо.

Но имя было всего лишь именем, мягким, словно шепот, и совсем чужим.

Священный огонь не мог загореться в душе Джо, пока он оставался один. С ним заговорили тогда на улице в Майами.

Но что именно они говорили, он не помнил... всего лишь сплошной поток слов, теплых и убедительных. И он вспоминал их абсолютную надежность. Они знали, они никогда не сомневались. Он следовал вместе с ними вниз по длинным лестницам во мрак, который, казалось, вот-вот расколется от звуков музыки...

Линда проснулась и спросила:

— У тебя дурные сны? Он ответил:

— Нет. Я не сплю.

— Чудо это или родник посреди пустыни, чтобы позволить слепому видеть? Или сделать все золотисто-желтые яблоки в мире синими? Почему небо так скупно на чудеса, ни даже на самое малое из них, ни даже на почтовую открытку?!

Он спросил Линду, сколько времени занимает обыкновенное чудо. Линда ответила, что иногда оно происходит за краткий миг, но может также занять и долгое время, возможно, почти целую жизнь.

— Жизнь! — воскликнул Джо. — Поцелуй меня, жизнь!

И повернулся лицом к стене.

В тот же вечер Теллертон отправился в бар Пал-мера и занял лишь стоячее место, там было многолюдно — официанты и бармены из ресторанов, постояльцы гостиниц, персонал, обслуживающий автоколонки... Несколько писем были засунуты в ящик с сигаретами рядом с кассой, возможно, одно из них — адресовано Джо.

— Одну порция виски, — заказал он. — Сегодня вечером у вас оживленно.

— Да, все зашевелились, — ответил бармен.

— Не так уж много молодежи в этом городе!

— Да, не очень.

— А детей Иисуса вы не видели?

— Ха, ха! — воскликнул бармен. — Здесь только такие, что читали катехизис, когда были вовсе малыми детьми.

И он продолжал свою работу уже в другом конце бара.

— Вы здесь новичок... — сказал ему сосед слева.

Лицо его было большим, загорелым, а глаза — усталыми.

— Дети Иисуса! Их в этом городе нет. Здесь ничего нет!

— Что вы знаете о них? Как они живут?

— Живут и живут, живут, как могут. Они верят во что-то и продолжают жить. А можно разве по-другому... Сейчас я пьян, но говорю вам, что существует огромная разница, и это — в вере во что-то. Огромная разница! Уж поверьте. А есть у вас хотя бы один-единственный человек, в которого вы верите, кто-то, на кого полностью полагаетесь... я имею в виду каждую секунду?

— Успокойся, — произнес мимоходом бармен. — Этот господин с севера. Спокойно!

— Извините, — торжественно сказал сосед Теллертона, — я умоляю об огромном прощении. Дико извиняюсь!.. Есть ли у вас хотя бы один-единственный человек, кто-то, на кого вы полностью полагаетесь?

— Нет, — вежливо ответил Теллертон.

— Херберт! — обратился к соседу Теллертона бармен. — Держи себя в руках. Еще виски? — спросил он.

— Нет, спасибо! — ответил Теллертон, не любивший спиртное.

Херберт пристально смотрел на него. Затем перевел взгляд на зеркало в баре и потянулся, а некоторое время спустя сказал:

— Просыпаешься утром...

— Да, — подсказал Теллертон.

— Все — точь-в-точь одинаково. Зови меня Херберт! Знаешь, почему так омерзительно просыпаться утром? Подожди немного, я тебе объясню. Потому как не веришь даже ни в какое дело во всем мире, ни в одно, ни в какое другое. Согласен? Стало быть, совершенно искренне, из самой глубины души ты веришь в этот мир, веришь в целом? Нет, не веришь! И ты дьявольски расстраиваешься оттого, что не просыпаешься в ожидании...

— Херберт! — сказал бармен. — Ты мешаешь нашему клиенту!

— Он хочет, чтоб ему мешали, — ответил Херберт. — Он любит это.

Теллертон заплатил и вернулся в пансионат. «Проснуться в ожидании, в предвкушении...» Черета слов мгновенно вызвала в памяти одну-единственную картину: самая ранняя юность, самое раннее утро... Теллертон лег в кровать и в преддверии сна, когда все упрощается и становится честным и благородным, подумал, что Джо

не нуждается ни в чем ином, кроме того, чтоб его оставили в покое и как можно дольше смогли уберечь от разочарования. Внезапно Баунти-Джо стал для него столь же далеким, как история для детей, столь же абсурдным и столь же правомочным.

Ребекка Рубинстайн набросала первый черновик в ответ на очередное ежемесячное послание Абраши:

«Дорогой Абраша! Порой меня развлекала мысль о том, чтобы дать тебе забавное описание тех старцев, что подстерегают свой конечный исход на залитой солнцем веранде в самом приятном зале ожидания, который только можно себе представить. Вместе с тем я сказала себе, что ты вполне можешь наблюдать такую же демонстрацию человеческого аффекта, а также ошибочные представления обо всем и полное отсутствие планов в своем собственном окружении...

Ты все равно никогда не встретишься с нашими пенсионерами. Да и вообще, слово, написанное на бумаге, редко когда могло завоевать твой интерес.

Но порой я оказываюсь в плену тех иррациональных представлений, которые в почтенном возрасте придают совершенно новую окраску привычным картинам и образам. То нагромождение картин и образов стародавних времен, которое я вижу вокруг себя, обладает весьма сильным электрическим зарядом. И очень серьезной формой! Я рассматриваю их, я прислушиваюсь к ним, я заполняю собой одно из кресел-качалок на веранде и предположительно произвожу впечатление огромной полуспящей морской львицы. Но я не сплю! Я — скрещение воли и осознания окружающего, дайте мне только сигнал, и я пойду на вдвое больший эффект, я перейду на удвоенную мощность и смогу изменить все, если только захочу. Я способна на все что угодно, только *если буду знать, что нужна*».

Миссис Рубинстайн давным-давно поняла, что письмо ее не годно к употреблению, но, во всяком случае, продолжила его. Возможно, начало письма еще пригодится.

«Только теперь я знаю, какие совершила ошибки и что оставила несделанным. Но не думай, что я раскаиваюсь или сожалею об этом. Моя уверенность в себе не уничтожена, а лишь расширена моей вновь возникшей настороженностью и чуткостью. Ныне смогла бы я...»

— Милая Ребекка, — обратилась к ней Ханна Хиггинс, — уж не сидишь ли ты случайно на моем вязанье?

— Нет, не сижу, — ответила миссис Рубинстайн.

Она рассерженно перечитала написанное и вычеркнула «Но порой я оказываюсь в плену...» Затем закурила сигарету и продолжала писать: «Рисунки детей всегда получать приятно. Обогащенные красками произведения Ширли висят над...» Нет! Не так! «... получать приятно»... «Думаю, вы Пасху отпраздновали наилучшим образом. Здесь снова в чести развлечения христиан, например, экскурсии в Силвер-Спринг. Это место, по-видимому, сохранило ту же самую красоту, что окружала индейцев до того, как их искоренили, если еще не испорчено ресторанами, „Змеиной фермой“ и восковой фигурой „Жизнь Иисуса“.

Весенний бал, как обычно, был патетическим мероприятием. И некий шлемозл, растяпа, чья огромность...»

Нет! Не так! Ей вовсе не хочется рассказывать что-либо об этом бале.

«Ведь это просто ужасно, — подумала миссис Рубинстайн. — Будто школьное сочинение на заданную тему, словно домашнее задание номер пятнадцать... Экскурсия. Мой первый бал! Хо-о-ха! Мой последний бал! Бедный Абраша! Неужели мы и вправду должны заниматься всем этим?»

«Надеюсь, что Либанонна...» И тут она позабыла, что натворила Либанонна, забыла начисто. Продолжать письмо было уже невозможно. Ничто не могло ее так опечалить и привести в раздражение, как ею забытые факты, забытые имена, слова... Совершенно невозможно было на чем-то сконцентрироваться, пока мозг не восстановит утраченное.

— Не понимаю, — сказала Ханна Хиггинс. — Господи! Куда я могла засунуть свое вязанье?

— А где ты видела его в последний раз? — спросила Пибоди.

«Либанонна, чем она занималась? Что было столь важным? Сколько ей лет, по-прежнему ли она красива? Или, быть может, Ширли красива? Кто сможет назвать все, что потеряно или перепутано, что ускользает, когда затемняется поток сознания, больше нет желания что-либо сообщать... Да и вообще... Ширли, или Либанонна, или Шуреле — эти чада воскресшие, — я ведь все равно

никогда не увижу этих маловажных девиц с их длиннющими носиками...»

— Миссис Рубинстайн, — прервала ее размышления мисс Фрей. — Я вижу, что вы все-таки сидите на вязанье Ханны. Оно высовывается сзади...

Миссис Рубинстайн встала. Одна из спиц согнулась под ее тяжестью.

— Как хорошо, — сказала Ханна Хиггинс и рассмеялась. — Как хорошо, что спица тебя не уколола. Хорошенькая была бы история!

Миссис Рубинстайн снова села, закрыв глаза. Она продолжала думать об Абраше. «Он был слишком жирным уже на самой первой фотографии, той, где снят на белой меховой полости... Нет! Я все перепишу заново. Начало было вообще неинтересным. Эти слова о зале ожидания и о том, что он не почитает письменное слово, — просто глупость! Я все переделаю завтра».

Вечером накануне великой экскурсии в Силвер-Спринг красный мотоцикл Джо был припаркован возле веранды; никогда раньше он не ставил его перед «Батлер армс». Теперь же всякий и каждый мог видеть, что Джо и Линда намеревались провести ночь вместе. Мисс Рутермер-Беркли радовалось, что Линда преодолела свой страх перед мотоциклом и что Баунти-Джо больше не стесняется... Согласно ее воззрениям, они сэкономили как время, так и недовольство, а это по-своему важно, даже если предстоит впереди целая жизнь.

Теперь бы не забыть наставить на ум мисс Фрей.

— Грех, мисс Фрей, грех может приобрести черты извинительного легкомыслия в пору уходов, отъездов и перемен. Отъезд на рассвете — чисто практическое мероприятие, да и должно признать, что позднее утром будет чрезмерно жарко. Вообще-то, осознанное предвидение включает своего рода ответственность как для них, так и для нас. Будем надеяться, что взятый Линдой и Джо курс на счастливое супружество приведет их к нему и что мы, с нашей стороны, уважим их дерзание и смелость...

«Ну хорошо, — подумала мисс Рутермер-Беркли, — возможно, я стала чуточку... чуточку чересчур обстоятельна. Но с этим — все. Утро вечера мудренее. Я не стану звонить, чтобы мне принесли чай, вечером не следует ставить Линду в неловкое положение. Ей необходим свободный вечер».

На рассвете Джо вышел на веранду. Под опустевшим небом покоился, словно череда нагромождений, город — улицы, дома и деревья — все серое. Ему показалось, будто все это напоминало скопление серой паутины. Единственным живым и сверкающим среди этого серого хаоса был его мотоцикл «хонда».

Джо впервые увидел силуэт города на фоне неба, незнакомый профиль шпилей и разукрашенных шедевров, боязливых и устарелых, будто на какой-нибудь старинной почтовой открытке из Европы...

Он нервничал сильнее, чем когда-либо, зная, что времени остается мало и что все самое важное свершалось вдали от него. Руки его тряслись, когда он накрепко застегивал шлем, и сквозь стекла

солнцезащитных очков-консервов утро показалось ему каким-то коричневатым, словно перед непогодой. Он ждал. Ощущение сложилось такое, будто он остается наедине с Линдой — впервые, и он страшился.

Наконец она пришла, открыв и закрыв за собой калитку так осторожно, словно благополучие всего мира зависело от того, чтобы никого не потревожить. В очках-консервах и в одежде, заправленной в джинсы Джо, она производила впечатление бесформенного насекомого. Она уселась в седло, будто на диван, или будто святая Френезия, либо какая-нибудь другая мученица, вступающая на костер, дабы тут же воспарить прямо на небеса.

— Садись как человек! — прошептал Джо. — Это тебе не какой-нибудь проклятый лебедь из Гвадалахары в Тиволи.

Он выключил приток воздуха, проверил мотор и пнул «хонду», давая мотоциклу ход. Ничего, ни звука. Он снова толкнул машину, и снова — ничего. Он попытался еще раз... Машина никогда прежде не подводила его. Линда сидела неподвижно, держась за седло и ни на секунду не спуская своих темных насекомообразных глаз с Джо. Но вот он снова вставил ключ, удостовериться, что ток поступает. И толкнул «хонду» снова, давая машине ход. Он опять все снова и снова пытался дать «хонде» все, что могла вытерпеть машина. Когда же наконец мотоцикл затрещал и тронулся с места, Джо вдруг ощутил беспомощность от пережитого напряжения и, прежде чем справился с машиной, переехал наискосок улицу и тротуар перед «Приютом дружбы», затем выбрался на автостраду и помчался прямо вперед. Сначала он чувствовал себя немного худо.

Но Линда следовала вместе с ним, сидела за его спиной. Ее тяжесть придавала «хонде» какой-то новый баланс, заставляя машину прогибаться под тяжестью ее тела. Держать курс прямо, подбородок — вперед, полностью ощущая легкость своей силы в плечах, в животе, в ногах... Он увеличивал подачу газа до тех пор, пока не заболела рука.

Линда сидела молча. Там, где автострада оказывалась неровной, что-то словно ударяло в диафрагму.

Солнце всходило, отбрасывая снопы света через дорогу под колеса, а порой маршрутные грузовики с ревом пролетали мимо в мерцании мрака, а потом лишь снова сияло солнце. Невидимый

ландшафт, только на миг озаренный вспышкой света, головокружительно уносился назад.

Он знал, как выглядело ее лицо с переменчивыми тенями, углубленными тонким слоем пыли, более темным вокруг рта. А обрамлявшие ее лицо волосы струились, будто черный дымок, под шлемом... Она была еще красивее, чем когда-либо прежде.

Юхансон подъехал к крыльцу; машина его была украшена зелеными ветвями — своеобразный обычай, вывезенный им же из Скандинавии. У каждого сиденья лежало свернутое одеяло, а у заднего стекла — коробка с медикаментами и все прочее, что могло понадобиться. Мисс Фрей раздала всем брошюры.

Пибоди прошла в самый дальний конец автобуса и попыталась открыть дверь, но у нее не получилось. Она никогда не могла ни с чем совладать — ни с машиной, ни с коробкой, да еще с медикаментами. Но большей частью всегда где-то рядом находился некто, ей помогавший.

— Мой милый дружок, — сказала Ханна Хиггинс, — не надо тебе сидеть сзади, тебя укачает, и ты ничего не увидишь.

Пибоди заколебалась, но потом прошла поближе вперед и села возле Юхансона.

— Мышка пожертвовала собой, — заметила миссис Рубинстайн, сидевшая на веранде. — Оказаться сзади — поступок христианки... Сядь она в серединке, ей бы никогда не заполучить лучшее место. Разве это не веселый предмет для наблюдения?

— Ну да, — ответила Элизабет Моррис. — Пожалуй, скорее злой! Обе они оставались дома. Они не любили экскурсии.

— Можно продолжать? — спросила миссис Рубинстайн. — Посмотрите на них! Моя дорогая Элизабет, посмотрите на них сквозь розовые очки. Томпсон презирает всех и вся, но одет он в черный костюм. А теперь они пересаживают его назад, потому что от него несет чесноком. Посмотрите на Фрей, ненавидящую Пибоди, которая, в свою очередь, ненавидит Фрей. Юхансон, словно Харон со своей ладьей, теперь они едут на экскурсию.

— Ты забыла Ханну Хиггинс, — напомнила миссис Моррис.

— Элизабет, — ответила миссис Рубинстайн, — я никогда не забываю Ханну Хиггинс, но она уклоняется от моих комментариев.

Они сидели в креслах-качалках, принадлежавших прежде сестрам Пихалга; похоже, это было определенное обоюдное, правда, не высказанное решение.

— Мы уже едем! — воскликнула Кэтрин Фрей. — Вы абсолютно уверены в том, что остаетесь дома, без нас?

— Позаботьтесь о себе! — воскликнула Пибоди. — Мы едем на поиски приключений!

Она махала рукой до тех пор, пока машина не свернула за угол, тогда она, вздохнув, откинулась назад, готовая увидеть абсолютно все, пережить все, что только попадется ей навстречу.

Юхансон, влившись в движение, ехал на восток по направлению к городу. Автострада представляла собой живую единую массу блестящих автомобилей, длиннущую ленту темного сверкающего металла. Перед ними расстился ландшафт, похожий на красочный туннель. По обеим сторонам дороги поднимались плакаты с объявлениями, шпили и молитвенные дома, пылающие радуги, буквы такой величины, что Пибоди не успевала истолковывать их, отели, мотели, бунгало — все летящее им навстречу в одной-единственной череде красоты, соблазнов и отпусков.

— Флорида! — вскричала Пибоди, посмотрев на Юхансона.

Он сказал:

— За последнее время тут очень много понастроили.

Испанские и марокканские дома, норвежские — с валунами на дерновых крышах, японские дома, быстро и могуче продвигающиеся вперед. Бензоколонка вздымала готический контрфорс к облакам, а высоко в небе жужжал гигантский серебряный башмак. Пибоди попыталась быстро прочитать сверху вниз: «Мотель предлагает мороженое»... We never close^[28]... potato chips^[29]; и она закрыла глаза.

— Ты взяла свои таблетки? — спросила сидевшая сзади Ханна Хиггинс.

Автобус, мягко спустившись вниз, ринулся по виадуку: ужасающе быстро мчались мимо, как будто мигая, параллельные решетки перил, и асфальт изо всех сил стремился снова вверх, на более широкую автостраду. А впереди аж до самой крайней оконечности горизонта сверкала блестящая, словно прибойная, волна машин.

Пибоди, прислонившись затылком к спинке кресла, видела, как пальмы одна за другой едут будто палки от метлы мимо. Их кроны были удивительно малы, всего лишь несколько травинок или вообще

ничего, только обнаженный, суживающийся кверху, устремленный к небу ствол.

Юхансон сказал, что виной этому тайфун шестьдесят девятого года, а миссис Хиггинс спросила, не тошнит ли Пибоди.

Та покачала головой и плотнула воздуха, затем села ровно и стала смотреть в окно. У каждого дома росли широкие кусты с красноватыми листьями, нагруженные цветами, напоминавшими розовые комочки мха. Места парковки были пусты, словно беззубая челюсть.

Пибоди стало нехорошо. Машина мчалась уже вдоль моря, и мимо, качаясь, пролетали белые увеселительные яхты «Морская красавица», «Глория» — она едва успевала прочитать их названия: «Сэр Бо»... Белая как мел яхта «Христос» пролетела задом наперед, благословляя распростертыми руками мексиканский гольф.

— Юхансон! — сказала Пибоди. — Юхансон! Мне надо выйти!

Вдоль побережья доброжелательные власти повелели возвести маленькие мирные полукруги со столиками и стульями там, где были разрешены стоянки.

Машины стояли вплотную друг к другу — носом к зеленоватому бурлящему морю, а рядом с ними — люди, наслаждавшиеся дуновениями морского ветра. Эвелин Пибоди вырвало в воду.

— Тебе лучше? — спросила Ханна Хиггинс.

— Да, гораздо лучше. Ехали слишком быстро, а я хотела видеть слишком много. Возможно, это один-единственный раз дано мне так близко увидеть Флориду.

Пибоди сидела на набережной, она смотрела ввысь. Когда она чувствовала себя нехорошо, всегда бывало так — обезоруживающая неопределенная улыбочка, приятная слабость, своего рода кроткая безответственность, словно когда ты болен и тебя уложили на ночь в постель. У Эвелин возникло желание попросить прощения у Фрей.

Юхансон не спускал глаз с роскошных яхт. Они медленно скользили мимо, оборудованные сверкающими рыболовными снастями, крепкими канатами, металлическими прутьями, что свешивались через корму, как кошачьи усы, а на такелаже яхты «Папа Ллойд», вызывая всеобщее восхищение, висел улов. Там сумели выудить маленького кита и держались со своей драгоценной добычей

как можно ближе к берегу. Повсюду, где только ни проплывала яхта, ей доставались аплодисменты.

Юхансон сказал, что все это великолепно, но не стоит хвастаться, коли сам ничего не сделал, а лишь купил за большие деньги.

«Может, отправиться в круиз, — думала мисс Фрей, — отпуск на борту парохода. Ты сидишь в шезлонге на палубе, тебя уносит все дальше и дальше по пустынной сверкающей поверхности моря... ты позволяешь книге соскользнуть с твоих колен на палубу и чувствуешь лишь, что ничто на свете уже не важно...»

Она устремила взгляд вверх вод, и ее осенило, что и теперь все точно так же — ничто на свете не важно. Вот это и ужасно: что ни делаешь, что ни устраиваешь и ни создаешь, все равно — ничто на свете не важно...

Уже много дней она не ощущала болей в животе.

— На что ты смотришь? — кротко спросила Пибоди.

— Ничего важного там нет, — ответила Фрей.

— Это море еще зеленее, чем в Сент-Питерсберге, не правда ли? Однажды папа взял нас с собой в долгую поездку, только чтобы показать море...

— Да, да, — отреагировала Фрей.

Пибоди по-прежнему сидела на земле, ее поднятое вверх лицо казалось каким-то удивительно детским.

Запинаясь в поисках нужных слов, она начала объяснять, что полностью все осознала, что вражда с Фрей чрезвычайно много значила для нее, но теперь вдруг она подумала: раз они все-таки вынуждены жить на одной и той же веранде, было бы проще и правильнее с этой враждой покончить!

— И вместо этого стать друзьями?

— Возможно, не то чтобы друзьями... — ответила Пибоди. Ее задумчивый взгляд был неотрывно обращен к морю. — На свете столько всего, чего нельзя понять... и состоится ли то, чего желаешь, или нет... Я имею в виду знакомство, дружеское знакомство. Жизнь все же достаточно трудна.

Внезапно повернувшись лицом к Фрей, она доверчиво спросила:

— Ты можешь простить меня?

— Конечно же, — ответила Фрей. — Не беспокойся!

Томпсон вышел из машины и попытался найти безлюдное место, но ему не сразу это удалось. Но во всяком случае он это сделал... За время всей поездки он не произнес ни слова.

Кэтрин Фрей начала мерзнуть на солнцепеке. «Ох уж эта Пибоди, та, что судит, та, что смеет высказывать все что угодно в силу своей кротости! Она жалеет, оплакивает старого самодовольного негодяя, такого как Томпсон, а о той, что никогда не знала дружбы, говорит, будто вражда была для нее просто дар... и ныне она созрела для обыкновенного знакомства! Ее рвет, она чувствует облегчение и впадает в умиление, глядя на море, и у нее, у кого все карты на руках, появляется желание просить прощения!»

Фрей пошла обратно в машину, там осталась лишь спавшая Ханна Хиггинс.

Юхансон повел машину наверх на автостраду и далее к Силвер-Спринг. Иногда он бросал взгляд в заднее зеркальце на Томпсона, но Томпсон был столь же одиноким и отсутствующим, каким казался теперь уже много недель подряд.

Откашлявшись, Юхансон сказал, что здесь застроено много миль. А несколько лет назад, кроме леса, ровно ничего не было...

— Подумать только, на что они способны! — сказала мисс Пибоди.

Мало-помалу они подъехали к заповедной земле, к джунглям, маленькой красивой части нетронутой юности Америки.

* * *

Когда письмо с утренней почтой пришло в бар Палмера, бармен завернул за угол в «Батлер армс» и спросил, где Линда. У него не было времени пройти весь путь вниз к «Баунти», сказал он, а он раз и навсегда хотел отделаться от этого благословенного письма.

Миссис Моррис сидела на веранде, она ответила, что все уехали в Силвер-Спринг, а Джо с Линдой укатили на рассвете, когда взошло солнце.

— Но он должен получить свое письмо, — настаивал бармен.

— Я знаю, — ответила она. — Отдайте его кому-нибудь в «Приюте дружбы», они скоро пустятся в путь.

Бармен перешел улицу, где пенсионеры как раз садились в автобус. Он, обведя их взглядом, отдал письмо Теллертону.

— Смотрите только, чтобы Джо получил его, — предупредил бармен. — Баунти-Джо! Мне плевать и на него, и на это письмо, но оно здесь, оно пришло. Вы позаботитесь об этом как следует?

— Обещаю, — ответил Теллертон и положил письмо в бумажник. Он поднялся в автобус, и тот тронулся по направлению к Силвер-Спрингу.

* * *

— Джо, — сказала Линда. — Джо! Здесь так же красиво, как я и думала. Здесь родники, словно серебряные. Будто на небеса попали!

Он спросил:

— Ну а что ты думаешь о «хонде»?

— Казалось, словно летишь в небеса! Усмехнувшись, Джо сказал:

— Вот видишь!

Они лежали на спине в траве близ воды, река была прозрачна как стекло, а там, где били родники, на вечно скользящей глади возникали водовороты.

Солнце освещало верхушки деревьев, но чуть дальше вниз ландшафт лежал в тени, мелкие ярко-красненькие птички прыгали вокруг и собирали корм среди оберток шоколада и уже кем-то обгрызенных маисовых початков. Возле речных суденышек перед закрытой кассой стояло в ожидании целое семейство: четверо детишек ели бутерброды, запивая их соком.

Речные суденышки овальной формы были выкрашены в белый цвет, и у каждого был натянут от солнца тент с бахромчатой оторочкой, и каждое суденышко носило имя какого-либо индейского вождя. Линда с трудом произносила по складам: Ток-ту-ро, Та-хат-ламос-се.

— Тут они жили, — сказала Линда. — А потом вы отобрали у них Силвер-Спринг и всех убили. Красненькие птички подлетали чуть ли не прямо к ее ногам.

Когда кассу открыли, первое суденышко дало задний ход и вышло в реку. Плыли на нем лишь семейство да Линда с Джо. Они

разглядывали речное дно сквозь стеклянные рамы, вмонтированные в борт. Песок на дне был залит потоками света, словно трепещущей решеткой солнечных бликов, узкие темные рыбы силуэты поспешно, будто проблески лучей, проносились мимо... О, это было так красиво! Линда, лежа ничком, все смотрела, смотрела и не могла насмотреться... Она видела рыбу с голубыми бровями, ну точь-в-точь как у миссис Моррис. Рыба, похожая на миссис Рубинстайн, проплыла мимо со шлейфом и вуалью, а рыба-Томпсон отправился в свою совершенно отдельную сторону, вне рыбьего косяка. Смотри, там плывет мама, и у нее корзинка на голове...

— Джо! Поплывем по реке вместе!

— Посмотрим! — ответил Джо, стеснявшийся многочисленного семейства.

Водный путь был узок, и по обеим его сторонам свисали вниз густые ветви, деревья вступали прямо в реку, встречаясь в воде с высокими речными растениями так, что путь пароходика становился путешествием сквозь сплошь зеленую мерцающую игру теней, сквозь мечту и сон.

— Ну разве не красиво, разве не красиво! — повторяла Линда...

Она повернулась к семейству и начала болтать с детьми, она обнимала самых маленьких, громко хохотала и бегала наискосок по палубе от одного борта к другому.

— Линда! — позвал ее Джо.

— Я не могу остановиться! Я так счастлива! И думаю о том, что мы сделаем, прежде чем поплывем в воде.

Он сказал:

— Ты знаешь, что здесь плавать запрещено?!

Иногда пароходик замедлял ход и рулил к дереву с белой цифрой, намалеванной на стволе. Штурман дул в свистульку, и среди ветвей тут же появлялись большие серые обезьяны. Они собирались все вместе в кучу, чтобы их накормили. Джо купил два мешочка корма, но Линда неловко швырнула их, и обезьянам почти ничего не досталось. Но это неважно, корм съели рыбы.

Дети звали обезьян и бросали бумагу, в которую были завернуты бутерброды, в реку. Но внезапно из вмонтированного в потолок громкоговорителя раздалось: «Путешествие по реке окончено», и пароходик повернул обратно.

— И это все? — спросила Линда. Обхватив Джо за плечи, она воскликнула: — Ведь это невозможно! Он должен плыть всю дорогу вперед. А мы не можем сойти на берег? Пусть другие продолжают путь.

— Это запрещено, — объяснил Джо. — Здесь Национальный парк!

— Но ты ведь знаешь, чем мы займемся на берегу?

— О'кей, о'кей, — произнес Джо. — Займемся кое-чем потом, позднее! Семейство прислушивалось к нашим разговорам, это было ужасно.

— Займемся любовью! — прошептала Линда. Его взгляд скользил поверх реки.

Когда они вышли на берег, Баунти-Джо кинулся навзничь в траву, он молчал. Линда легла вплотную рядом с ним.

— Ты сердисься, — сказала она. — Ты думаешь, я опозорила тебя. Вы такие странные в твоей Америке. Все, о чем вы поете и пишете, и ваши картины, и ваша одежда, и ваш Иисус — все только о том, чтобы любить, да и танцуете вы, как любите... Но говорить...

— Из-за этого семейства, они прислушивались... — объяснил Джо.

— Семейства... — терпеливо сказала Линда, — семейства знают всё о том, как любить, Джо! Если мама хотела любить папу, она говорила: «Сейчас у нас есть время, а место здесь — хорошее». И все мы слышали, что она говорила. И она была абсолютно права, ведь папа хотел всегда...

— Ты так много болтаешь, — произнес Джо. Автобус из «Приюта дружбы» остановился перед рестораном. Джо увидел, как все пассажиры один за другим выходят из него. Все вместе они стоят, глядя на реку. Быстро, словно порыв ветра, Джо ощутил желание овладеть Линдой, здесь, сейчас же, в траве близ воды... Он перекатился на спину и стал разглядывать верхушки деревьев.

* * *

Когда Ханна Хиггинс прибыла в Силвер-Спринг, она, всплеснув руками, воскликнула:

— Точь-в-точь — книжка-картинка!

Травянистый ковер был доступен здесь всем. Семьям, туристам, любящим парам, пенсионерам и детям — всем разрешен был травянистый ковер. Они бродили, играли и мечтали, они ели или спали.

Вверх и вниз по реке шли под звуки музыки, игравшей во всю мощь, пароходы, каждый также носил имя вождя индейцев. Здесь жили они давным-давно — охотились и плавали, стряпали еду... До чего странно было думать об этом! Те же родники и такое же обилие рыбы.

Но теперь, разумеется, местность эта стала заповедной.

— Точь-в-точь — красивая книжка-картинка! — повторяла Ханна Хиггинс. Она вошла в сувенирную лавку, купила открытку и фигурки трех маленьких индейцев, чтобы послать домой.

Пибоди нашла для себя в лавке шаль с изображением всех достопримечательностей Силвер-Спринга. Однако же Фрей только стояла у прилавка, листая брошюры. Снова начались боли в животе.

— Где Томпсон? — спросила она. — Я ответственна за эту поездку, нам надо держаться всем вместе.

Ханна Хиггинс ответила:

— Он купил себе шапку, какую носил Дэви Крокетт^[30].

Новая шапка Томпсона была большая и серая, с длинным хвостом, а вкупе с его бровями она придавала ему почти дьявольский вид. При этом казалось, будто он стал меньше ростом.

— А шапка не слишком теплая? — спросила Пибоди.

«Не для него, — подумала Фрей, — не оттуда он явился!»

А вслух сказала:

— Первый пункт нашей программы — Змеиная ферма. Вы можете пойти туда, если пожелаете, но я останусь на воздухе. Стоит мне увидеть каких-нибудь ползучек, как я заболеваю.

— Фрейдизм! — заметил Томпсон.

Впервые за все время поездки он хоть что-то сказал. Новая шапка взбудрила его. Из-под меховой оторочки он вытаращил глаза на Фрей, потряс серым хвостом на шапке и вошел в змеевник. Там было уже очень тепло. Переходя от одной стеклянной витрины к другой, трое путешественников разглядывали неподвижно свернувшихся в серпентарии змей. Большинство из них были как будто припорошены пылью и, казалось, спали.

Томпсон, прижав лицо к стеклу, пытался ужасающими гримасами заставить змей шевелиться.

— Они похожи на меня, — сказал он, — они презирают весь мир.

Миссис Хиггинс и мисс Пибоди принялись болтать о змеях. Они напоминали друг другу об ужасных происшествиях, о плавающих змеях, что заползают на тебя в воде, о белых змеях, приползающих к крыльцу когда кто-то должен умереть... О змеях, что кусают себя за хвост и катятся следом за тобой, словно колесо.

— Говорите громче! — потребовал Томпсон. — Я не слышу ваших слов.

Ханна Хиггинс повторила:

— В Южной Америке змеи кусают себя за хвост и катятся следом за тобой, будто колесо. А однажды во время сенокоса змея подняли вверх вместе с вилами и он свалился мне на шею!

Эвелин Пибоди вскрикнула, пискнув совсем как мышка.

— Змей! — произнес Томпсон. — Змей у вас в мозгу. Это — бедное животное, которое запало вам в ум. Разве вы еще не пришли в себя после грехопадения?

Внезапно в нем пробудилась какая-то эйфория, лихорадочный интерес к болтовне. Надвинув меховую шапку как можно ниже на глаза, он прошипел:

— Змей! Секс! Вы ведь знаете, секс нынче в моде... И судя по тому, что вы говорите, он не обошел и вас... Говорю вам, змей не желает ничего иного, кроме того, чтоб его оставили в покое. Даже в Южной Америке змей не станет катиться за вами следом, будто колесо! Взгляните на него! Видели ли вы когда-нибудь такое бездонное отсутствие интереса, такое невероятное презрение!

Какой-то очковый змей, медленно раскачиваясь, поднял свою украшенную чем-то похожим на шлем голову: глаза его напоминали глаза хищных птиц и крокодилов.

Но вот он чуточку, буквально на волосок, отклонил голову назад и оцепенел.

— Убирайся, убирайся прочь! — прошептала мисс Пибоди.

И они двинулись дальше по жаре и по песку.

Профессор-змеевед стоял в высоких сапогах в одной из клеток в окружении восьми гремучих змей. Пассажиры трех перегруженных автобусов облепили этот четырехугольник из непробиваемого стекла.

Свернувшись твердым плотным клубком, змеи так же точно окружали его изнутри. В центре каждого клубка, предостерегая зрителей, непрерывно гремела погремушка. Звук погремушек был сух, безжизнен, исполнен леденящей угрозы.

— Иди сюда! — позвала Ханна Хиггинс. — Здесь лучше видно!

По другую сторону клеток стоял Тим Теллертон... Автобус из «Приюта дружбы» уже прибыл.

Профессор поднял руку, и восемь погремушек ускорили темп, фактически суля смерть.

Теллертон смотрел на змей со сдержанной неприязнью, надеясь, что они не развернут свой клубок.

Профессор надул белый воздушный шар. Драматически замедлив жест, он стал протягивать шар к одной из змей, протягивать все ближе и ближе...

Никто не видел, как змея ударила хвостом по шару, никто не заметил и тени какого-либо движения. Слабый удар, треск, тряпка из резины, трепет удовлетворенности вокруг непробиваемого стекла клетки...

Томпсон пробился на другую сторону людского кольца. Хлопнув Теллертона по спине, он сказал:

— А вас я помню! Вы не пожелали сесть в кресла-качалки покойниц. Вы жалеете змей?

Теллертон, взглянув на змей, ответил:

— Да, мне жаль их!

— Так я и думал! — произнес Томпсон и отошел от него.

Змеевед, удостоенный длительных аплодисментов, вернулся обратно. Зрители за стеклом начали медленно расходиться. Змеи с погремушками по-прежнему лежали, свернувшись в твердый клубок, а погремушки их по-прежнему все еще гремели. От автобуса уже направлялся новый людской поток, а воинственная готовность змей не ослабевала до самого вечера.

— Мисс Пибоди, — спросил Теллертон. — Не видели ли вы Баунти-Джо?

Вопрос был фактически безличен. Так спрашивают в кассе, в канцелярии...

— Нет! — ответила она.

— У меня для него письмо чрезвычайной важности, письмо, что пришло сегодня утром.

Они влились в толпу экскурсантов, перебравшихся дальше, к цистерне с аллигаторами.

— Вам хорошо в Сент-Питерсберге? — спросила Эвелин Пибоди.

— Извините?.. — переспросил Теллертон.

— Вам хорошо живется в Сент-Питерсберге?

— Это очень красивый город!

Змеи лежали, сгрудившись в кучу друг на друге в углу цистерны, сухие, шероховатые тела, застывшие в оцепенелой массе, а на них капала из-под крана вода.

Пибоди и Теллертона теснили сзади люди. И она враждебно спросила, уютная ли у него комната. Он смущенно взглянул на нее.

— Комната? — переспросил он. — Да, очень уютная! Пойдем дальше?

Выбраться оттуда, из этой давки, лишенной какого-либо порядка или целеустремленности, было трудно. Люди загораживали друг другу дорогу, не зная, куда им идти и что им хочется видеть.

Прибыло уже множество груженных людьми автобусов... сплошные потоки — большей частью пенсионеров. Они двигались медленно и шли совсем в другую сторону. Постоянная трудность заключалась в том, чтобы вовлечь их в поток обычных экскурсантов.

— Поспешите сюда, — без устали повторял охранник. — Вам выйти или войти?

— Мистер Теллертон, — сказала Пибоди. — Я видела вас в разных представлениях.

Люди нажимали со всех сторон, иногда он оборачивался, чтобы посмотреть, не отстала ли она.

— В разных представлениях! — закричала она. — Это безумно много значило для меня!

Протиснувшись мимо кассы, они вышли, и мисс Фрей, подскочив к ним, сказала:

— Наконец-то вы здесь!

Она включила Хиггинс и Томпсона в свой список и оплатила их круиз по реке.

— Подожди, подожди! — остановила ее Пибоди. Она смотрела на Теллертона.

— Прошу вас. Если увидите Баунти-Джо, скажите, что ему пришло письмо.

Речной пароходик был набит битком; всем раздали по мешочку с кормом для рыбок. Включили громкоговоритель, и пароходик заскользил по мерцающим водам реки.

* * *

День был долгий, полностью завершённый. Те, кто устал, могли отдохнуть на террасах или в тени под деревьями, а те, у кого еще оставались силы, бродили в парке вдоль зеленеющих берегов и неустанно текущих вод. Малыши валялись в траве или спали, закинув ручонки над головками, ручонки, открытые, словно венчики цветов. Молодежь развлекалась, пуская в цель длинные, украшенные перьями стрелы из луков.

Когда Ханна Хиггинс проходила мимо тира с колоссально увеличенным изображением индейского вождя Тахатламоссе, она услышала звенящие звуки пущенных стрел и остановилась, чтобы посмотреть. И разглядела в палисаднике индейские узоры ярких расцветок, а довольно далеко светились, словно солнца в небе, мишени. Над ними же высилась густая, зеленая, ограничивающая их от всего мира стена джунглей.

— А мы не можем пойти туда? — спросила миссис Хиггинс. — Стоит всего лишь двадцать пять центов, и я никогда не видела никого, кто бы стрелял из лука.

Мисс Фрей сказала, что время уже слишком позднее. В программе у них место игрищ Бемби^[31], а потом — пора уже ехать домой.

— Подожди немного, — попросила миссис Хиггинс и подошла ближе, — всего лишь один часок.

Зрение ее было, как известно, скверное, и все краски вылились из предназначенных им границ, соединились друг с другом и со страшной силой смешались с дневным светом. Никто не знал, что Ханна Хиггинс — дальтоник, видевший окружающий мир еще более прекрасным, чем он был на самом деле. Однако идентифицирован был в ее глазах не только цвет, но и любое ее движение подвергалось

выразительному упрощению. Там, где юная Ханна рассматривала то, к чему привыкла, постаревшая Ханна видела лишь реальность, освобожденную от привычной и ненужной детали. Самое существенное в цвете или в движении всегда выступало в самом ярком освещении на исходе дня.

Стрелки-лучники были изумительно красивые, тонкие и статные. Она видела, что тела их напрягаются, как напрягается тетива луков — спокойно и драматично. И лучники были столь же красивы, когда опускали свои луки движением, выражающим достойную внимания расслабленность.

Фрей повторила, что уже поздно, что у нее — билеты на место игрищ Бемби, а мелкие животные устают еще до наступления сумерек. Ей хотелось бы, чтоб Эвелин и Томпсон увидели место игрищ, пока животные не заснули.

— Это правильно, — согласилась с ней миссис Хиггинс. — Я бы тоже поспала немного в машине Юхансона.

Он сидел на террасе с газетой в руках.

— Юхансон, — сказала миссис Хиггинс, — вот двадцать пять центов. Будь добр, выстрели из лука как можно дальше. Ты ведь можешь выстрелить из лука?

Он ответил:

— Конечно могу!

— Конечно, он сможет, этот Крестный Отец Юхансон... Он сможет все что угодно, но он ничего не знает о джунглях! Он застрелит одного из моих тигров. Я люблю тигров, и змей, и вождей индейцев! — сказал Томпсон.

Юхансон ответил:

— Не беспокойся! Я выстрелю в воздух. Тигры мистера Томпсона могут идти куда захотят.

Мисс Фрей повела своих подопечных к месту игрищ.

— Он — большой осел, — сказал Томпсон, — если верит, что в Силвер-Спринге водятся тигры! Он еще хуже, чем я думал.

Место игрищ Бемби, огороженное палисадом, вплотную примыкает к джунглям. Все животные здесь — ручные и не кусаются. Все, кто хочет, могут купить детскую бутылочку с теплым молоком, снабженную соской, и напоить детенышей хищников или подержать на руках маленьких кроликов и котят. Коз где только не видно, их

просто тьма-тьмушая. Блея и толкаясь, они, оскалив свои длинные серые зубы, пытаются жевать, втягивая в пасть одежду посетителей. А голуби абсолютно доверчиво опускаются на плечи и руки людей, дети пугаются, кричат, и тут же утешаются, и фотографируются, обнимая жующих животных. Надо всей этой неописуемо дружественной и мягкой сутолокой витает запах малышей, теплого нагретого песка, кипяченого молока и детской мочи.

Тим Теллертон остановился у входа и молча постоял, выискивая в толпе Баунти-Джо.

— О, милые мои, письмо! — воскликнула Пибоди. — Ведь они были здесь совсем недавно, и я забыла сказать им о письме! Линда поила молоком одного бемби, а я, заглядевшись на них, забыла об этом.

Теллертон слегка улыбнулся, пусть она не принимает это близко к сердцу, времени еще достаточно. Певец, видимо, сильно устал. Рядом с ними кто-то сунул монетку в кроличий автомат, оттуда выпал счастливый номер, и оба кролика, ринувшись вперед — каждый со своей стороны, — пустили передние лапки в ход и стали истерически бегать по кругу. Машина звякнула и остановилась. Одновременно тоненькая струйка овсяной крупы потекла вниз, на дно клетки.

Эвелин Пибоди стояла, глядя на Теллертона, и впервые увидела, что он — очень стар, что он — совершенно обычный старый человек с красивыми глазами.

«Бедняга, — машинально подумала Пибоди, — должно быть, он устал», и ее сострадание вернулось на обычные, известные Пибоди рельсы, к которым она привыкла и которые не могли уничтожить судороги ее восхищения. Подойдя ближе к Теллертону, она сказала, что в домике для игрищ есть скамейки, может, ему хочется отдохнуть?

Тим Теллертон вперил в нее взор своих голубых, будто льдинки, глаз и ответил:

— Мисс Пибоди, вы чрезмерно любезны! Как раз в эту минуту Кэтрин Фрей вдруг стала кричать на голубей, она размахивала руками, бегая за ручными птицами. Козлята прекратили беспомощно блеять, а дети просто перепугались. Охранник, поспешивший туда, сказал:

— Послушайте, это же комната для детей и нечего устраивать трам-тарарам!

Фрей повернулась к нему спиной и стала лихорадочно, дрожащими руками, рыться в своей сумке.

— Это всего лишь нервы, — объяснила шепотом охраннику Пибоди. — Я позабочусь о том, чтоб ее успокоить.

Фрей ушла от них с мыслью: «Ты, милая сестрица милосердия, вот кто ты...»

Она слепо, не видя, прошла в тени под стеной, ведущей в джунгли, и остановилась у палисада. Там на белой калитке красовалась вывеска: «Тропа джунглей». Козы последовали за ней, пытаясь добраться до ее рук.

— Мисс Фрей, — произнес Тим Теллертон. — Могу ли просить вас оказать услугу? Я знаю, что на вас можно положиться.

Она ответила:

— Конечно, охотно.

Она сжала руки, чтобы унять дрожь.

— У меня письмо к Баунти-Джо, — серьезно сказал Теллертон. — Это важное письмо, оно пришло в бар Палмера нынче утром. Не возьметесь ли вы передать письмо ему?

— Да, да, я передам, — заверила Теллертона Фрей.

Она взяла письмо и положила его в сумку. Козы пытались схватить сумку, но она подняла ее как можно выше, ведь козы теснились уже со всех сторон. А пахли они скверно.

— Мисс Фрей, — сказал Теллертон, — я чувствую себя здесь чужим и рад, что вы можете выполнить мое поручение. Передайте привет обитателям «Батлер армс».

Отворив ей белую калитку, он, коротко и профессионально поклонившись, покинул место игрищ.

Кэтрин Фрей шла по Тропе джунглей. Посещение Тропы джунглей входит в стоимость экскурсии, она не длинная, всего лишь десять минут ходьбы в одну сторону — десять минут туда и десять обратно, но у экскурсанта в самом деле возникает глубокое впечатление, будто он — в подлинном первобытном лесу. Если повезет оказаться здесь между прибытием и отправлением автобусов в будни, может статься, что тропа — пуста, а лес — абсолютно молчалив.

Фрей тихо постояла, и постояла так довольно долго.

Солнце зашло, и никаких животных уже не было. Это было просто прекрасно. Постепенно она пошла дальше по дороге, выложенной кафелем на влажной земле и огороженной веревками. За веревками раскинулись джунгли — густые и низкорослые — поросль низеньких деревьев с водой меж корнями, да серые пригорки набухшей, поросшей мхом земли, пригорки, похожие на могильные холмики. К примеру, вот холмик Пибоди, ангела беспощадного сострадания вплоть до самой своей исполненной мира кончины: «Здесь покоится Эвелин Пибоди с нежным сердцем, а здесь покоится многокрасочный, яркий мистер Томпсон. Здесь покоится Фрей...»

С реки доносились совсем слабые звуки музыки, и тут она услышала, что оба они — Пибоди и Томпсон — идут следом за ней... они шли за ней, и Пибоди при виде Фрей воскликнула:

— Подожди! Как ты, тебе лучше? Ты успокоилась?

Томпсон рыскал кругом, объясняя, что здесь никакие вовсе не джунгли, что здесь ничего общего с джунглями нет. Он подошел к веревке и, заглянув в серые заросли, испытал глубокое разочарование. Собственный первобытный лес Томпсона был темно-зеленым и непроходимым. Пугающие своей колоссальностью, поднимались из вечных сумерек древесные стволы навстречу недостижимому своду цветов, пылающему над головами хищников, — своду мечты фантастов и безумных миллионеров. Ха-ха! А это — просто прогулочная тропка для теток-старперш!

— Это абсолютно подлинные джунгли, — объясняла Пибоди. — Национальное достояние! Здесь никто не ходил десятки лет и никогда не сломал ни единой ветки. Говорят, что еще дальше в чаще водятся дикие обезьяны. Подождите немного!

Вытащив брошюру, она стала листать ее.

— Пибоди! — сказал Томпсон. — Ты болтаешь, словно гид. Без пива никакой фантазии у тебя нет!

Он шел дальше тихим ходом, хромающей походкой, отгалкиваясь тростью от бревен, выстилающих тропу, и населяя свои собственные джунгли ползающими и крадущимися тяжелыми телами пресмыкающихся. Что-то скользнуло в зарослях с легким, будто шелк, шелестом и с резко оборванным вскриком, едва ли не вздохом.

— Змей! — бросил он через плечо. — Я люблю их! У меня был уж, он спал у меня под кроватью.

Кэтрин Фрей, обойдя его кругом, ускорила шаг. Томпсон повысил голос:

— Уж! Да, а откуда вам знать, не живет ли у меня по-прежнему под кроватью уж? Вам никогда не найти его, и, во всяком случае, вы никогда не сможете быть по-настоящему уверены в том, что его в доме нет!

Фрей, обернувшись, спросила:

— Чего вы хотите? Почему вы все делаете ради того, чтобы напугать и рассердить меня, почему вы так поступаете?

— Чтобы увидеть, удастся это или нет, — буркнул Томпсон куда-то под край мшаника. Казалось, он был абсолютно откровенен.

Пибоди боязливо воскликнула:

— Не будь таким злющим! Она не любит животных!

Кэтрин Фрей покинула их. Довольно скоро вышла она к прогалине в лесу. Здесь дорога поворачивала назад. Вывеска гласила, что это Поляна джунглей, и маленький Средиземноморский павильон звал отдохнуть. Она вошла туда и села...

Аспирин ей обычно не помогал, но, во всяком случае, пару таблеток она приняла.

Здесь были автоматы с бутербродами, с открытками и с кока-колой. Посреди прогалины стоял красно-белый, сделанный из фанеры Дед Мороз в запорошенном снегом одеянии, а вокруг него росли большущие мухоморы, содержавшие пластмассовые ящички для пожеланий к Рождеству. Обычный столб-тотем неистово глядел в сторону джунглей.

Но вот боли немного отпустили Фрей. Возможно, аспирин все-таки помогал. Кэтрин Фрей позволила себе расслабиться, погрузиться в состояние полной нереальности, а ландшафт и спутники показались ей преувеличенными, будто какие-то комиксы, сама же она чувствовала лишь усталость.

Но вот подоспели и они. Пибоди заглянула в мухомор и сказала, что, раз уж они тут побывали, им надо загадать желание. Пожелать можно что угодно, и нет ли у нее, у Фрей, клочка бумаги.

«Пожелай за меня, — подумала Кэтрин Фрей, — пожелай мне трижды умереть, сунь в землю резеду, и розмарин, и все цветы, которые только ты мысленно ни подарила своему любимому папочке, но во имя Господа Иисуса нашего оставь меня в покое».

— Почему ты смеешься? — спросила Пибоди. — У тебя нет бумаги?

Как раз в этот миг Томпсон, приподняв веревку, окружавшую поляну, вошел в джунгли, и его серая меховая шапка скрылась среди деревьев.

— Нет, никакой бумаги у меня нет, — ответила Фрей.

Пибоди вошла в павильон и устроилась на скамейке. Тишина пугала ее, и она долго объясняла...

А объяснения ее, скорее всего, касались следующего вопроса: «Странно, что люди не всегда думают о том, что говорят, или говорят не то, что думают, и вовсе не надо придерживаться только одного или другого мнения... Ведь колоссально редко осуществляется то, о чем думаешь ты, да и большинство вовсе не думает так уж плохо...»

Ее обуревала боязнь того, что она была вовсе не любезна, не дружелюбна, ее снова захватили еще не оформившиеся угрызения совести.

Внезапно Фрей спросила:

— Где он?

— Томпсон? Думаю, пошел в джунгли.

— Ты видела, как он пошел в джунгли?

— Не знаю, точно не знаю...

— Ты это видела? Видела? — разразилась Фрей. — Не валяй дурочку, скажи, пошел он туда или нет.

— Возможно, пошел, — прошептала Эвелин Пибоди.

Мисс Фрей резко поднялась и выбежала на поляну. Раз за разом звала она Томпсона, но ответа не получала. Он должен был услышать ее, он не мог еще так далеко уйти, но старый козел молчал, видимо, сегодня он был глух, как пень, и, впад в детство, только что выбрался с площадки с песочницей.

— Подожди! — крикнула Пибоди. — Подожди меня!

Кэтрин Фрей шла все дальше, ведомая чувством ответственности, но, пожалуй, больше всего — гневом. Иногда она звала своего злейшего врага.

Земля постепенно опускалась, превращаясь в темную неопределенную массу, где застревали ноги, идти стало трудно. Вода, скопившаяся в башмаках, была теплая.

Гниющие снизу стволы невысоких деревцев торчали повсюду, суживаясь к вершине, будто червяки — наживка на крючке. Лес был отвратительный. В конце концов Фрей стала кричать только ради того, чтобы звать, чтобы выкричатся самой.

— Старый козел! Поджигатель! Томпсон! Злодей!

И проходя все дальше и дальше в чащу джунглей, она начала окликать и других. Ужасающими эпитетами награждала она тех, кто никогда не давал себе труда спросить о ней, кто никогда не позаботился о том, чтобы найти того единственного человека в мире, того, кем была Кэтрин Фрей.

Пибоди следовала за ней, как могла — изо всех сил, — и слышала, как Фрей кричит все дальше и дальше, все слабее и слабее в лесной чаще... Под конец все стихло.

Нет на свете ничего столь пугающего, как то, что от тебя уходят люди, не заботясь о том, чтобы подождать, люди... Это казалось Пибоди жутким еще в детстве, когда речь шла всего-то об игре. Никто не знал, как она боялась, когда папа хотел играть снова. Всякий раз, когда он прятался за деревом, она думала, что он никогда больше не вернется обратно. Всякий раз, когда он не мог найти то, что ему хотелось, его дочь Эвелин испытывала чувство глубокого горя. Мы искали, мы никогда не делали ничего другого, кроме как искали. Папа не отыскал для нас ручья, не нашел и джунглей...

— Любимое мое семейство, вот здесь может найтись настоящее, поросшее низенькими деревцами озерцо... Представьте себе черные зеркальные лужицы под редкостной формы воздушными корнями и запах стоячей воды там, где так и бурлит медленно умирающая жизнь...

Всякого рода опасности витают вокруг нас, утешьтесь, мама! Я найду место для вас всех, место надежное и сухое.

— О Георг, — говорила мама, — оставь поиски...

И я молила Бога. Чтобы папа нашел свое поросшее низенькими деревцами озерцо и надежное место, которым мама восхищалась бы, и я все время боялась, что он устанет и умрет из-за того, что мы вечно заставляли его разочаровываться. И я была абсолютно права, думала мисс Пибоди. Именно это он и сделал, хотя был еще так молод.

Она наткнулась на лужу, и ее очки слетели. Пока она их искала, они втоптались в мох.

Джунгли были миром воды, и всякий раз, когда Линда находила красивое местечко, чтобы предаться любви, земля опускалась в глубоководную бурю.

Баунти-Джо сказал:

— Видишь, как это... И зачем тебе цветы, они ведь мнутся, да и не видны, когда мы лежим на них?

— Да, — ответила Линда и пошла дальше вброд меж островками зарослей невысоких деревцев, осторожно оглядывая все вокруг, словно водоплавающая птица. А если ветви загораживали ей путь, она наклоняла их в сторону и ждала, когда Джо поднимется и пройдет мимо, после чего она снова шла впереди.

День клонился к вечеру, и лес покоился в тени.

— Здесь, — сказала она, — здесь мы не опустимся так глубоко, а любиться можно и в воде.

Но Джо ответил, что в подобном случае надо быть угрем, а ему не по душе чувствовать себя идиотом.

Линда не ответила.

Наконец они подошли к стремнине, бурному течению извилистой реки среди деревьев, а на темной ее поверхности покоились заросли белых кувшинок и округлых зеленых листьев.

Она сказала:

— Здесь мы и останемся. Лучшего места поплавать нам не найти. А плавать почти так же весело, не правда ли?

Они разделись и повесили свою одежду на дерево. Близ берега скопились затонувшие древесные стволы и корни, но меж ними дно затвердело от песка.

Джо не спускал глаз с Линды. Зеленые листья сплелись в венок вокруг ее талии. Она отвела их в сторону и скользнула вниз в воду. Она смотрела на Джо, но о любви не думала. Лицом к лицу следовали они за слабым потоком, и казалось, движутся они по воздуху.

Она сказала:

— Если ты голоден и хочешь гамбургер или что-нибудь еще, то мы, пожалуй, еще успеем в ресторан, прежде чем его закроют.

— Я не голоден, — ответил Джо. — Мне хорошо. Вода в Силвер-Спринге была такой же чистой, как в Майами. Быть может, еще чище!

* * *

Кэтрин Фрей шла теперь очень тихо и уже не кричала. Живот больше не болел. Ни одна мысль не подгоняла ее. Последний речной пароходик, подождав, отплыл в Силвер-Спринг, громкоговоритель отключили, и вскоре должны уже запереть калитки. Она продолжала идти.

Несколько серых обезьян, сгрудившихся в кучу, сидели на деревьях, они походили на Томпсона в его серой меховой шапке. Да и весь лес был серым и каким-то нереальным, с теми же самыми зарослями низеньких деревцев и лужами воды и с той же набухшей землей, по которой она шла все дальше, не заботясь ни о чем другом, кроме как только бы не болел живот... Это было все равно что заснуть и отрешиться от всего и уходить все дальше и дальше в спокойную и равнодушную пустоту.

Мисс Фрей не была уже сама собой, она шагнула за фактические пределы своей усталости. Возможно, ее манило смутное представление об очень древних слонах, что уходят в себя, только бы их оставили в покое... Это вполне можно себе представить. Потом уже мисс Фрей подумала, что заблудилась, но даже и тогда еще могла она втайне дать себе волю удивляться и волю к праздной мечте, имевшей много общего с красотой пустоты и уничтожения.

Благодаря тому что мисс Фрей, как и большинство людей, делала правой ногой шаги чуть длиннее, нежели левой, двигалась она по кругу, который мало-помалу привел ее обратно в Силвер-Спринг.

Перед самым заходом солнца остановилась она у узкого водоема, едва ли большего, чем аквариум для рыб и лягушек. В неопикуемой неподвижности струился он мимо под сводом из широкого блестящего листа железа, и теперь, будто неоспоримая часть водного пути, явились скользящие вместе с потоком два пловца.

Это длилось недолго. Они не подняли даже плечи над водой. Кожа Джо обрела бурый цвет родника, а Линда была бела, как песок;

волосы же ее выплывали в поток, будто широкая, четко обрисованная тень. С их исчезновением изменилась и пустота леса.

Фрей натужно заплакала, сев на песок, она вытащила из сумки носовой платочек. Она увидела, что время позднее. День подошел к концу, и Юхансон, разумеется, давным-давно уехал. Им предстояла долгая поездка.

Мисс Фрей привела в порядок свою сумку, положила счета за развлечения нынешнего дня в особое отделение, брошюры — в другое. Она сунула мелкие деньги в кошелек, а мокрый носовой платочек в карман, чтобы не замочить письмо Джо. Наконец, напудрив нос, она поднялась, чтобы пойти обратно, но так и осталась, и неподвижно стояла, не имея ни малейшего представления о том, куда, в какую сторону направиться.

Как раз тогда на восходе солнца собрались на крупное состязание стрелки из лука. Приз каждый день был одним и тем же — памятная медаль с барельефом, изображающим вождя индейцев Тахатламоссе, того, кто в своей дикости отчаянно защищал Силвер-Спринг вплоть до самого горького своего конца. Здесь еще была изображена из воска, но в подлинной копии, та темница, где вождь умер от горя.

Когда мисс Фрей глянула в небо, она увидела стрелу, летящую ввысь и описывающую крутую дугу, озаренную ярким светом восходящего солнца. Стрела несла на себе красные и белые перья. Длительный миг отдыха... и стрела, прежде чем стремглав упала прямо в джунгли, показалась ей неподвижной.

Мисс Фрей сунула сумку подмышку и по прямой линии зашагала к Силвер-Спрингу. Очень скоро она увидела Пибоди, стоявшую, обхватив руками дерево. Фрей подошла к ней и спросила:

— Ха, ты видела Томпсона? Нам пора уже обратно — время позднее.

Пибоди только покачала головой, но, так ничего и не ответив, не сдвинулась с места.

— Успокойся! — сказала Фрей. — Мне нужно переговорить с дирекцией и заставить отыскать Томпсона как можно скорее, иначе мы вернемся домой среди ночи.

— Во всем виновата ты, — прошептала Пибоди, — ты не подождала, ушла, а я потеряла вас из виду во мшанике. — Повысив

голос, она пожаловалась: — Я видела, когда это случилось, он умер и упал вниз, в воду!

— Успокойся сама и оставь дерево в покое. О чем ты болтаешь!

— Он упал в воду! — закричала Пибоди. — Я видела, как он проплывал мимо, он был большой и длинный.

— Томпсон, ты говоришь о Томпсоне?

— Нет! Я говорю о нем! Он упал в воду, он больше ничего не мог сделать и просто исчез.

— Послушай меня, — сказала перепуганная Фрей. Обняв Пибоди за плечи, она заботливо спросила: — Что ты видела? Подумай! Ты видела стрелу, которая упала в воду? Они стреляли из лука в Силвер-Спринге; ты видела стрелу? Не дурачься! Ты знаешь, что говоришь?

— Конечно знаю! — воскликнула, рассердившись, Пибоди. — Он умер слишком рано, но старые грабли, такие как ты, только все продолжают и продолжают болтать, а ничего устроить не могут, хоть и отвечают за всю программу!

Фрей сказала:

— Дай мне руку. Мы пойдем домой!

Они медленно двигались к парку. Столб-тотем торчал, а Дед Мороз по-прежнему стоял в окружении своих мухоморов... Ничего не изменилось, и Пибоди спросила:

— Ты злишься на меня? Не говори ничего. Как, по-твоему, схвачу я простуду из-за этого?

— Может статься, — ответила Фрей. — Возможно! Надень в машине сухие чулки!

Пибоди довольно тяжело висела на ее плече и все время спотыкалась. Но Пибоди состарилась, и злиться на нее нечего. Проницательная мисс Фрей вступила на Тропу джунглей, она не устала. Она несла дурные вести. Долгие годы на веранде в Сент-Питерсберге им предстоит все снова и снова беседовать о Джо, об этом красавце-юноше, о величественных джунглях, об единственном на свете Джо и единственной на свете стреле, и о сотнях миль пустынных джунглей, куда не ступала нога человека, и о Боге — столь страшном и столь удивительном...

Пибоди спросила:

— Думаешь, мы успеем? Не опоздаем?

— Будь спокойна, — ответила Фрей. — Времени у нас достаточно, еще не вечер.

Когда в холле зазвонил телефон, миссис Рубинстайн, написав адрес Абраши на конверте, читала, лежа в кровати. Она насчитала шесть сигналов, прежде чем установилась тишина. Вскоре снова раздались звонки. Шесть позывных, и снова тишина.

— Хо-о-ха! — сказала Ребекка Рубинстайн. — Посреди ночи они звонят и мешают тебе.

Она не могла больше читать, в душе ее загорелся и быстро разрастался страх, столь же ужасный, как в давным-давно забытые ночи, когда Абраша не приходил домой...

Но вот снова зазвонил телефон, и она, отбросив одеяло, вышла в небрежном виде на лестницу, где было темно.

Элизабет Моррис разговаривала внизу, она была немногословна.

Должно быть, сейчас трубку положат и раздадутся медленные шаги вверх по лестнице, послышатся ужасные, нещадные, но пытающиеся пощадить слова:

— Мужайся, твой сын...

Ребекка Рубинстайн, опершись о лестничные перила, застыла в ожидании. В душе ее возникло новое письмо, то письмо, которое она могла бы написать и постоянно пыталась это сделать, написать просто, чтобы ни единое слово ничего не означало и не утаивало, пока она в безумной спешке беседовала с сыном.

Наконец-то она, вовсе не пытаясь найти ее, отыскала ту столь необходимую меру любви, которой им так долго не хватало.

Пока она мысленно исписывала страницу за страницей, показалась Элизабет Моррис и стала медленно подниматься по лестнице.

Она попросила:

— Пусть будет темно, я без зубов. Звонил Юхансон. Они запоздали и приедут домой только позднее, ночью... Томпсон устроил заварушку, наделал неприятностей, Фрей очень больна...

Миссис Рубинстайн прошептала:

— Что ты говоришь? Это все? И ничего другого?

— Да, все, — ответила мисс Моррис. — Я разговаривала с Линдой. Джо получил письмо из Майами. Он отправится туда уже завтра, как можно быстрее. — Помолчав немного, она продолжила: —

Там с ними — плохо. Томпсон совершенно неуправляем и утверждает... просто настаивает, что Юхансон застрелил одну из его обезьян.

— Одну из его обезьян... — повторила миссис Рубинстайн.

Ей хотелось кричать, смеяться, славословить, ее ноги охватила дрожь, и она обеими руками держалась за перила.

Элизабет спросила:

— Что с тобой?

— Ничего, прости меня, мне необходимо написать письмо.

Ее снедало нетерпение, и она продолжила:

— Я знаю, что их экскурсия стала обременительной, какой ей и должно было стать. Элизабет, у меня нет времени беспокоиться по этому поводу, Крестный Отец Юхансон застрелил обезьяну, и это грустно, но время позднее. А если я не напишу именно это письмо сейчас же, то не напишу никогда.

— Понимаю, — ответила миссис Моррис.

Она пошла обратно, чтобы лечь в постель.

Сон — благословение, которое приходит по-разному. И нынче ночью миссис Моррис заснула очень легко, так, как спят перед решающим боем, целиком погрузившись в сон. Но между часом и двумя ночи она поднялась, вставила зубы и тщательно оделась.

А затем, включив свет на лестнице, в холле и на веранде, она включила и все лампы в комнате Линды. После этого миссис Моррис вышла в теплую ночь и села в кресло-качалку одной из сестер Пихалга.

Было пасмурно, однако «Батлер армс» сверкал огнями, как замок, ожидающий запоздалых гостей.

Жалеть — значит понимать. понимать — значит любить...

«Город Солнца» (1974) — единственный роман Туве Янссон о тех, у кого, говоря словами Иосифа Бродского, «впереди осталось меньше, чем позади...» О тех, кого, чтобы понять, надо пожалеть, но если поймешь, приходится полюбить.

А Город Солнца в книге знаменитой финляндской писательницы — это Сент-Питерсберг — город во Флориде, американский тезка Санкт-Петербурга^[32].

В этом городе Соединенных Штатов Америки всегда тепло и солнечно, там жизнь дешевле, а пенсионеров в многочисленных пансионатах ожидает комфортабельное обслуживание. Да и сам город Сент-Питерсберг уже не тот «захудалый» городишко, как называет его Марк Твен в своей знаменитой книге о Томе Сойере и его друзьях. Это процветающий город, центр туризма.

И если читать этот роман, не обратив внимания на заднюю сторону суперобложки оригинального издания, остаешься в полной уверенности, что действие его происходит именно в Сент-Питерсберге. Но взглянем на то, что пишет о своем замысле сама Туве Янссон: «Я путешествовала по Америке и, проезжая Флориду, очутилась однажды ночью в городе, что был совершенно молчалив. Наутро он был точно так же молчалив и пуст. Открытые веранды вместе с высокими рядами кресел-качалок, утопая в окружавшей их зелени, все обращены были в сторону улицы. Царившее там спокойствие было почти ужасающим. И лишь позднее я поняла, что город этот был одним из тех солнечных городов, городов Солнца, что олицетворяют собой все те места, где солнечный свет гарантирован круглый год. Неумолимо и идеально предназначен он был для отдыха и старчества.

Я назвала город Сент-Питерсберг, но он с таким же успехом мог носить и другое имя. И там вовсе не было спокойно. Жизнь была такой же бурной, рискованной и изобиловала приключениями, как повсюду на земле. Я попыталась написать книгу о том, как приходит старость.

И описала любовь двух очень молодых и красивых людей, что живут в городе стариков.

В Америке, как раз во Флориде, крайне интенсивно возникает и новая вера в то, что Иисус вернется, и вернется чрезвычайно скоро. И ожидает его воскресения как раз молодежь. Я заставила Баунти-Джо быть одним из ожидающих. Он — охранник на кинокорабле, на мифическом корабле „Баунти“, пришвартованном в Сент-Питерсбергской гавани.

Весь этот город, по пережитому мной впечатлению, — своего рода прибежище поры ухода и поры прихода, полная возможность отправиться куда угодно... Город Солнца — Город Любви и чрезвычайно Живой Город».

Пик славы Туве Янссон (1914–2001) в России, который сама писательница и художница в беседе с автором этой статьи определила как «муми-бум», пришелся на 1970-1990-е годы. Полученные ею еще ранее многочисленные национальные и международные премии увенчала в 1966 году высшая награда, присуждаемая лучшим детским писателям и иллюстраторам детских книг, так называемая «Малая Нобелевская премия» — Международная Золотая Медаль Ханса Кристиана Андерсена. Туве Янссон получила ее из рук Астрид Линдгрэн.

Полюбившиеся детям и взрослым герои Янссон — муми-тролли и их друзья переживали невиданные, захватывающие приключения; постепенно, от книги к книге, менялись и мудрели... А потом случилось невероятное: вышел в свет сборник новелл Янссон для взрослых «Умеющая слушать» (1971). За ним последовали и другие сборники: «Кукольный дом» (1978), «Честная игра» (1989), «Путешествие налегке» (1990), «Письма Клары» (1991), «Послания» (1998). Туве Янссон — автор и написанной ранее талантливой автобиографической повести «Дочь скульптора» (1961), повестей «Летняя книга» (1972), «Честный обман» (1982), «Каменное поле» (1974).

То, что Янссон писала произведения для взрослых, не так уж удивительно, как может показаться на первый взгляд. Ведь даже ее первые, адресованные детям повести-сказки «Маленькие тролли и большое наводнение» (1938), «Шляпа волшебника» (1949), «Опасное лето» (1954), «Мемуары папы муми-тролля» (1954) и другие читались

взрослыми, а начиная с книги «Волшебная зима» (1957), герои ее повестей-сказок начинают на глазах взрослеть.

Как и произведения других великих писателей: Рабле, Шарля де Костера, Сервантеса, Андерсена, да отчасти и Линдгрена, сказочные повести о муми-троллях предназначены как для детей, так и для взрослых. Творчество Янссон — одного из последних классиков XX века — «пример такой детской книги, которая переросла свои границы и ценится также и взрослыми»^[33].

В повествованиях Туве Янссон «Доброта всегда побеждает Злобу, это — нечто, частенько воспринимаемое детьми как довольно естественное явление, и то, что взрослые имеют склонность рассматривать как исполнение своей сокровенной мечты»^[34].

Цитату эту вполне можно отнести и к одному из персонажей романа «Город Солнца» Томпсону с его мечтой побывать в джунглях, осуществившейся во время экскурсии в Силвер-Спринг. Эта мечта заставляет его измениться к лучшему, стать более терпимым к окружающим и даже изменить отношение к нему других, например Юхансона. Да и мисс Фрей, невзирая на неприязнь к Томпсону, преодолев отвращение к нему, пускается на поиски этого странного человека.

В книге «Город Солнца» наблюдается не просто переход из мира детства в мир взрослых, но уже и в мир старчества. Проблема, затронутая писательницей еще в повести «Летняя книга» и особенно в вызывающих пронзительную жалость новеллах о старости и беспомощности ее родителей («Обезьяна», 1978 и «Дочь», 1997)^[35], целиком занимает писательницу в этом романе.

Возможно, подобная тема показалась бы кое-кому даже скучной и неинтересной, не коснись ее рука замечательного мыслителя и художника — великой Туве Янссон.

Под пером финляндской писательницы обыденная жизнь обитателей пансионата «Батлер армс» становится увлекательным психологическим романом, романом, посвященным постижению внутреннего мира человека. И не случайно литературная премия Сельмы Лагерлёф в 1992 году была присуждена Янссон «За ее новаторскую инсценировку человеческой комедии», за то, что она заставила идиллией сказки обогатить идиллию всего мира^[36].

Чтение писательницей книг Сельмы Лагерлёф в детстве, и прежде всего романа «Сага о Йесте Берлинге», заставило ее, по собственному признанию Янссон, понять, «что людям иногда приходится странно вести себя, и это — абсолютно естественно, ибо они все время пребывают в борьбе меж белым и черным, меж Добром и Злом... ибо они могут любить и жертвовать собой ошибочно, могут испытывать угрызения совести и чувство вины и бездонно расточительствовать ради того, чтобы все было абсолютно правильно.

И Молчание и Тишина обретали новый смысл, а Самообладание и Пребывание в Одиночестве также, если это было важнее всего для человека — не только ради него самого, но и ради других...»^[37]

Подобная точка зрения не могла не отразиться на описании обитателей Сент-Питерсберга, людей различного имущественного и общественного положения, различного возраста и интеллекта.

И хотя большинство из них одинокие пенсионеры, это вовсе не означает, что они просто доживают свои дни, постоянно думая лишь о смерти.

Они действительно *живут* — каждый или каждая по-своему. Они — стары, их отделяет друг от друга небольшая разница в годах, но они заботятся о своей внешности и нарядах, носят модные шляпки, они постоянные клиенты парикмахерских. Они трезво судят о происходящем, пишут глубочайшего содержания письма и вовсе не мирятся с окружающими их обстоятельствами. Они борются с жизнью и по-своему не сдаются... Они слушают музыку, радуются экскурсиям, танцуют на весеннем балу...

Среди них есть добрые, сердечные люди, но есть злые и недоброжелательные.

Большинство из них даже в солидном возрасте способно к развитию, к изменению.

И можно сказать, что пансионат «Батлер армс» — своего рода микрокосм жизни современного человека.

Лейтмотивом романа Янссон служат ее собственные слова в начале повествования: «Жалеть — значит понимать, понимать — значит любить...» Писательница со всей искренностью произносит эту фразу, вкладывая в нее глубочайший смысл, *жаляя, понимая и любя своих героев.*

Собственно говоря, в романе «Город Солнца» нет единого сюжета. Книга состоит из ряда связанных между собой эпизодов. Они включают описание будней постояльцев, их мелкие ссоры и добрые поступки, их отношение к самым разным событиям, таким как почти одновременная смерть сестер Пихалга, весенний бал со скоропостижной смертью мэра города, экскурсия в Силвер-Спринг, визит незнакомого шотландца и приезд жены Томпсона, разыскивавшей его восемнадцать лет... Аккомпанементом для всех этих и других эпизодов служит любовная история Баунти-Джо и Линды.

На фоне этих событий даются необыкновенной яркости и точности психологические портреты основных персонажей романа. Иногда это целостные яркие характеры, иногда намеченные лишь пунктиром неясные, дающие читателям пищу для размышлений образы.

Прежде всего привлекает внимание владелица пансионата мисс Рутермер-Беркли, не страдающая возрастными духовными недостатками женщина, обладающая высоким чувством человеческого достоинства.

В 90 лет она, восхищаясь красотой французского языка, с удовольствием его изучает. Она — тонкий знаток человеческой психологии, мудра, философична, обладает широкими современными взглядами на любовь, чужда мелочам жизни и, стараясь понять окружающих, никого не осуждает. Она способна взглянуть со стороны на собственную жизнь, она имеет мужество осознать свои ошибки, что не так уж просто, а порой даже противоречивы.

Сложен, но вместе с тем по-своему глубок и привлекателен портрет миссис Рубинстайн, состоятельной и властной женщины, в прошлом — главы клана, женщины, фамилия и семья которой стали в романе именем нарицательным — «рубинстайны». Вначале это — грубая и властная, презирающая окружающих сквернословница, делающая исключение лишь для миссис Хиггинс, которая постоянно вырезает из бумаги лилии, и миссис Моррис — великолепной пианистки; им миссис Рубинстайн никогда не делает замечаний. Привыкшая верховодить и быть на виду, она и в пансионате остается ухоженной, кокетливой и постоянно занимает первое место в конкурсах на лучшую шляпку. В конце концов она оказывается хотя и

по-прежнему властной и амбициозной, но способной проявить уважение к чрезвычайно деятельной мисс Рутермер-Беркли и даже мелкой и слабой «мышке» — мисс Пибоди. Она болезненно, нежно и вместе с тем требовательно любит своего единственного сына, которому сочиняет, не отправляя, нескончаемое письмо, терпеливо пытаясь разобраться в их сложных отношениях.

Поведение миссис Моррис с ее странными прогулками и явным временным пристрастием к звукам камнедробилки постепенно объясняется, когда становится известно, что она — покоренная музыкой блестящая пианистка, доставляющая своей игрой радость обитателям пансионата и другим слушателям, великолепный знаток музыкального фольклора.

Предельно ясна бывшая швея мисс Пибоди с ее вселенской добротой, часто заставляющей ее попадать впросак, с ее безумной любовью к покойному отцу и своей семье, со скрытой, но всем явной симпатией, а возможно и тайной любовью, к незнакомому ей, прежде знаменитому певцу Теллертону. Забитая и несчастная, с единственно светлым в жизни — выигрышем в лотерею, она, обретя силы, становится наконец сама собой. Пибоди оказывается даже в состоянии выступить против озлобленной мисс Фрей, которую многие не любят, а позже — помириться с ней.

Пожалуй, самой большой удачей писательницы является четко психологически вычерченный портрет Томпсона. Поначалу всеми ненавидимый, глухой или притворяющийся глухим, неряшливый, любопытный, всеми отвергаемый и сам изводивший всех женоненавистник, обедневший и живущий из милости в самой маленькой комнатенке под лестницей, он внезапно раскрывается совершенно с другой стороны.

Прежде всего — это его расположение и нежность к горничной Линде, которая хорошо относится к нему и заботится о нем. Затем — его любовь к чтению и музыке, его удивительный внутренний мир, совершенно не гармонирующий с образом жизни этого человека, его интерес к проблемам мрачающего космического пространства, тонкая оценка женщин, живущих в пансионате...

Особенно меняется Томпсон после встречи с женой, которую оставил давным-давно. Он даже просит у нее прощения. Меняется его отношение к садовнику Юхансону, которого он просто не замечал, и

тот, преисполнившись жалости к этому преобразившемуся до неузнаваемости человеку, сам предлагает ему инструменты, которые прежде не хотел давать.

Меняется и другой не менее важный персонаж — мисс Фрей. Безликая, больная, замкнутая в стеклянной клетке кассы, она, сознавая бессмысленность своей работы, ненавидит жизнь и окружающих ее людей, особенно Томпсона, который без конца третирует ее. Но все-таки, когда тот во время экскурсии теряется, она из последних сил отправляется на поиски. Оскорбленная ссорой с мисс Пибоди, Фрей также прощает ее.

Верная своим принципам, провозглашенным в речи по случаю присуждения ей в 1966 году Международной Золотой Медали Андерсена, Янссон оставляет что-то недоговоренным, необъясненным, предоставляя читателю самому понять и домыслить сущность отдельных судеб и характеров. Загадкой остается, при всем понимании их глубокой порядочности, жизнь сестер Пихалга. Легкий туман неясности окутывает судьбу и последнее пристанище некогда знаменитого певца Тима Теллертонна.

И все-таки герои этого романа *живут, а не доживают...* Для них олицетворением жизни, надежд в будущем становятся Баунти-Джо и Линда, которую любит даже Томпсон. Она с ее оптимизмом и здравым отношением к смерти и к жизни со всеми ее горестями и радостями умеет привлекать сердца постояльцев пансионата.

Завершение романа также загадочно и может вызвать некоторое недоумение. Но оно — в духе Янссон. Остается загадкой, кто из героев погибает, а кто обретает возможность осуществить свою мечту...

Нельзя не согласиться с мнением ученых и литературоведов, справедливо считающих роман «Город Солнца» уникальным. Темы старчества, одержимости, изменений человеческой личности, сложности людских контактов и до этой книги были приоритетны для Янссон в ее других произведениях. В этом же романе она соединяет близкие ей темы воедино, описывая будни и редкие праздники, которые жизнь предоставляет человеку преклонного возраста, кем бы он ни был прежде. «Чувство, которое обретает читатель, — это спокойная, ни на что не претендующая и мягкая позиция Линды, которая вместе с ее неизменной теплотой и есть то, что автор этой

книги ценит превыше всего»^[38]. И возможно, жалея, понимая и любя героев своего романа «Город Солнца», Туве Янссон с таким пониманием, жалостью и любовью издает позднее свои новеллы о родителях «Обезьяна» (1978) и «Дочь» (1997).

Людмила Брауде

notes

Примечания

Порт на берегу Мексиканского залива. Основан в 1882 г. русским эмигрантом Петром Дементьевым. Пользуется славой «города пенсионеров». Мягкий климат юга Флориды и сравнительно недорогой уровень жизни привлекают сюда старых людей с начала XX в. Американский тезка принял участие в праздновании 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга, с ним установлены экономические и культурные связи.

2

Город-порт в штате Флорида. Круглосуточный морской курорт в пригороде Майами-Бич.

3

Портовый и курортный город на западном побережье штата Флорида.

Направление в евангелизме, возникшее в начале 1970-х гг. среди некоторых слоев молодежи, особенно бывших наркоманов и хиппи. Большинство последователей этого направления посвятили себя уличным проповедям и жизни в коммунах. Наиболее ортодоксальная секта — «Дети Господа Иисуса Христа». Возможно, речь идет о «Чудаках Христовых».

5

Город в центральной части штата Мэриленд, пригород Вашингтона.

6

Дева, незамужняя девица (*шв.*).

7

Рубиновый камень *(нем.)*.

8

Что вы хотите? (*фр.*).

9

Никогда, никогда в жизни. Всегда (*фр.*).

Алмаз двойного действия для резки стекла.

Род растений семейства мальвовых. Вечнозеленые или листопадные деревья и кустарники.

Парк с аттракционами и ресторанами, место развлечений, театров, чрезвычайно распространенное в Скандинавии.

«Тихая ночь»... *(нем.)*.

Музей американского цирка Ринглингов в Сарасоте — городе на Юго-Западе штата Флорида, на побережье Мексиканского залива. Ринглинги — пятеро братьев, создатели крупнейшего в мире цирка во главе с Джоном Ринглингом.

Штат в Гавайе, «Штат гостеприимства» — официальное прозвище, связанное с развитой инфраструктурой туризма. Существует также Гавайская авиакомпания «Алоха».

Клот, клотик (*морск.*) — яблоко, шишка, набалдашник на кончике флагштоков. *Зд.:* огни на кончике флагштоков.

Постепенно изменяющаяся четкость изображения или сила звука
(англ.).

Академическое гоночное судно с уключинами для весел за бортом (*морск.*).

Город на севере штата Флорида, в 40 км от Мексиканского залива.

Маленький цветок (*фр.*).

Небрежность, беспечность (*φρ*).

Гагат — особый вид каменного угля, получающего сильный лоск при полировке и идущего на брошки и другие украшения. Не смешивать гагат и агат.

Любовь (*англ.*).

Перифразировка изречения: «Не играй с огнем!»

Город на юго-западе штата Флорида, на побережье Мексиканского залива.

Музыкальный стиль, сочетающий в себе ритмические и мелодические элементы джаза и гармоническую основу рок-н-ролла *(англ.)*.

Солнечная радость (*англ.*).

Мы никогда не закрываемся (*англ.*).

Картофельные чипсы (*англ.*).

Популярный политический деятель, герой Фронттира (1766–1836).

Герой знаменитой лесной сказки «Бемби» (1924) известного австрийского писателя Феликса Зальтена (1869–1945).

У российской Северной столицы множество тезок. По статистике, на Земле есть еще 12 городов, называющихся просто Петербургами. Десять из них также расположены в разных штатах США, один — в Канаде, и еще один — в Южно-Африканской Республике. Кроме них, на земном шаре существуют города, чьи названия похожи на название нашей Северной столицы. Это Восточный Петербург в штате Пенсильвания, Петерборг в Дании и Санкт-Питер в Германии. Однако полный тезка нашего Санкт-Петербурга только один — в штате Флорида. См.: Тезки нашего города // Аргументы и факты, 2002, № 47.

Линдгрэн А. Письмо к Л. Брауде (май 1968).

Цит. по: *Jones W. Glyn. Vagen fran Mumindalen. Hango, 1984, s. 8.*

См.: Брауде Л. Ю. Малая проза великой писательницы // Яиссон Т. Дочь скульптора. Великое путешествие. СПб.: Амфора, 2001, с. 10–11.

Till Selma. Litteraturpristagarnas tal // Uddevalla, 2003, s. 80, 84.

Ibid, s. 83.

W. GlynJones. Op. Cit, s. 154.